

Михаил  
**Салтыков-Щедрин**

Сказки



классика  
в школе

## Annotation

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включены «История одного города» и сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, которые изучают в 7, 8 и 10-м классах.

---

- [Михаил Салтыков-Щедрин](#)
  - [Сказки](#)
    - [Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил](#)
    - [Дикий помещик](#)
    - [Премудрый пискарь](#)
    - [Самоотверженный заяц](#)
    - [Бедный волк](#)
    - [Медведь на воеводстве](#)
      - 
      - [I. Топтыгин 1-й](#)
      - [II. Топтыгин 2-й](#)
      - [III. Топтыгин 3-й](#)
    - [Вяленая вобла](#)
    - [Орел-меценат](#)
    - [Карась-идеалист](#)
  - [История одного города](#)
    - [От издателя](#)
    - [Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца\[11\]](#)
    - [О корени происхождения глуповцев](#)
    - [Опись градоначальникам, в разное время в город глупов от высшего начальства поставленным \(1731–1826\)](#)

- [Органчик\[35\]](#)
- [Сказание о шести градоначальницах. Картина глумовского междоусобия](#)
- [Известие о Двоекурове](#)
- [Голодный город](#)
- [Соломенный город](#)
- [Фантастический путешественник](#)
- [Войны за просвещение](#)
- [Эпоха увольнения от войн](#)
- [Поклонение мамоне\[92\] и покаяние](#)
- [Подтверждение покаяния. Заключение](#)
- [Оправдательные документы](#)
  - [I. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем](#)
  - [II. О благовидной всех градоначальников наружности](#)
  - [III. Устав о свойственном градоправителю добросердечии](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)

- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)

- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)

- [129](#)
  - [130](#)
  - [131](#)
  - [132](#)
  - [133](#)
  - [134](#)
  - [135](#)
  - [136](#)
-

**Михаил Салтыков-Щедрин**  
**Сказки**



# Сказки

## **Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил**

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненужностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подъяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

– Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, – сказал один генерал, – вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

– Господи! да что ж это такое! где мы! – вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

– Что же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слезы, – ежели теперича доклад написать – какая польза из этого выйдет?

– Вот что, – отвечал другой генерал, – подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

– Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! – сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано – сделано. Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» – подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес – а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

– Господи! еды-то! еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

– Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

– Да вот нашел старый номер «Московских ведомостей», и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

– Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? – сказал один генерал.

– Да, – отвечал другой генерал, – признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде рождаются, как их утром к кофею подают!

– Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

– Как все это сделать? – словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

– Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! – сказал один генерал.

– Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! – вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

– С нами крестная сила! – сказали они оба разом, – ведь этак мы друг друга съедем! И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

– Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! – проговорил один генерал.

– Начинайте! – отвечал другой генерал.

– Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

– Станный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

– Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

– Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать – и спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

– Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, – начал опять один генерал.

– Как так?

– Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

– Тогда что ж?

– Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

– Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, – читал взволнованным голосом один генерал, – у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских, – фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

– Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? – воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным

старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

– Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! – прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, – все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

– А что, ваше превосходительство, – сказал он радостно, – если бы нам найти мужика?

– То есть как же... мужика?

– Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

– Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

– Как нет мужика – мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

– Спишь, лежебок! – накинулись они на него, – небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришлось даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами – нигде не пропадешь!»

– Довольны ли вы, господа генералы? – спрашивал между тем мужичина-лежебок.

– Довольны, любезный друг, видим твое усердие! – отвечали генералы.

– Не позволите ли теперь отдохнуть?

– Отдохни, дружок, только своей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопля, размочил в воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убежал, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

– А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? – говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

– Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

– Стало быть, и потоп был?

– И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в

«Московских ведомостях» повествуют...

– А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани – и ничего, не тошнит!

\*\*\*\*\*

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

– Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? – спрашивал один генерал другого.

– И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! – отвечал другой генерал.

– Хорошо-то оно хорошо здесь – слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

– Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

– А ведь мы с Подьяческой генералы! – обрадовались генералы.

– А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит – это он самый я и есть! – отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль – не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

– Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! – сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

– Будьте покойны, господа генералы, не впервой! – отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл.



Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство – этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли – того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

**1869**

## Дикий помещик

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет гляючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

– Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, – видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

– Одно только слово написано, – молвит глупый помещик, – а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет – сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется – сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

– Больше я нынче этими штрафами на них действую! – говорит помещик соседям своим, – потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут – всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет – помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет – помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух – все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

– Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик – никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

– Куда же ты крестьян своих девал? – спрашивает Садовский у помещика.

– А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

– Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

– Да я уж и то сколько дней невымытый хожу!

– Стало быть, шампиньоны на лице растить собрался? – сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гранпасьянс да гранпасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую сыграть!»

Сказано – сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали – и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

– А оттого это, – хвастается помещик, – что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

– Ах, как это хорошо! – хвалят помещика генералы, – стало быть, теперь у вас этого холопьяго запаху нисколько не будет?

– Нисколько, – отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

– Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? – спрашивает помещик.

– Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

– Чтó ж это такое? – спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

– А вот, закусите, чем бог послал!

– Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

– Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

– Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? – накинулись они на него.

– Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

– Однако, брат, глупый же ты помещик! – сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попала колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

– Посмотрим, – говорит, – господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, чтó может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит – все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

– Уж если, – говорит, – сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гранпасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут – персики, тут – грецкий орех!» Посмотрит в окошко – ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться – ан там уж пыли на вершок насело...

– Сенька! – крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет, – ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, – и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

– Ева, мой друг! – говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

– Сенька! – опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

– Чем бы, однако, заняться? – спрашивает он себя, – хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

– Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? – спрашивает исправник.

– А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

– Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

– Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

– Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

– Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

– А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий, существовать не может?

– Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

– Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

– Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

– Глупый же вы, господин помещик! – молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только плупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» – и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и всё думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

– Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! – говорит помещик, а сам по секрету

от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит чрез комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

– Кшш... – бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

– Сенька! – вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

– Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный

клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, – а он уж тут как тут. Словно стрела, соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

– Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? – сказал он медведю.

– Хотеть – отчего не хотеть! – отвечал медведь, – только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!

– А почему так?

– А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каком-то человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.



Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую грудку денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

– И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» – спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доньне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

**1869**

## Премудрый пискарь

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло́ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется – везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заплотать может, а он никого заплотать не может. Да и не понимает: зачем плотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха – в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь – и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? – что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? – Нитка, на нитке крючок, на крючке – червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! – говорил он, – потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься – ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попало! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, – даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, – это ни в сказке сказать, ни

пером описать. Чувствует, что его везут, а куда – не знает. Видит, что у него с одного боку – щука, с другого – окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они – не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла – никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит – «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это – «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу – будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину – та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется – и присмирееет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пушай в реке порастет!» Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки – домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, – сказал он себе, – а не то как раз пропадешь!» – и стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому – не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно – именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят – он будет моцион делать, а днем – станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать

из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать – да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поплотает воды – и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок – глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, – глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках

повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется – только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили – то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется – вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет – неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет...» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались обществу, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и вырождаться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил – дрожал и умирал – дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал – только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы – может быть, как и он, пискари – и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заплотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что́ всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылюю свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук плотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось – щука ли его заплотала, рак ли клешней перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, – свидетелей этому делу не было. Скорее всего – сам умер, потому что какая сласть щуке плотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и *премудрого*?

1883

## Самоотверженный заяц

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Зайнйка! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: «Через столько-то суток и часов смерть должна прийти». Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: «Ха-ха!» И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: «Изменил мне косою!» А может быть, подождала-подождала, да и с другим... слюбилась... А может быть и так: играла, бедняжка, и кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего – куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит,



словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается – ан это невестин брат.

– Невеста-то твоя помирает, – говорит. – Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалось. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пуцал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности – неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайнычке, которая тем только и виновата, что его, косоного, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую зайнычку, передними лапками за ушки, и все бы миловал да по головке бы гладил.

– Бежим! – говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прынет – и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

– Не могу, – говорит, – волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит, и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

– Бежим! – опять говорит посланец.

– Не могу! – повторяет осужденный.

– Что вы там шепчетесь, злоумышляете? – как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу – что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой зайнычке и без жениха, и без братца – обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые – а перед ними и волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

– Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! – лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

– То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

– Так и так, ваше благородие, – вступился тут невестин брат, – сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

– Гм... это хорошо, что невеста жениха любит, – говорит волчиха. – Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

– Да ведь его на послезавтра есть назначено...

– Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! – зашепел осужденный, и чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

– Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косога в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом у себя оставил.

– Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, – сказал он, – я его вместо тебя съем; а коли воротишься – обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется – он ее «на уру» возьмет; река – он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото – он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непрерменно женюсь!» ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись, – говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар – а вон он как... улепетьвает!»

Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было – этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая зайчиха, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан, и ну лапками «кавалерийскую рысь»

выбивать – это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем: не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы – всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой наmilоваться, как уж затвердил:

– Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

– Что больно к спеху зандобилось? – подшучивает над ним зайчиха-мать.

– Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову – господин. Судили тут тетки и сестрицы – и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова – крепись, а давши – держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косога окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

– Беспременно меня волк съест, – говорил он, – так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

– А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась – надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы – на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косою; зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи; ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть ключьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом – и еще шибче припустит. Ни горы, ни доли, ни леса, ни болота – все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Сова, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косою все бежит и все одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг – пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косою ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот, наконец, гора. За этой горой – болото и в нем – волчье логово... Опоздал, косою, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

– Здесь я! здесь! – крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

– Вижу, – сказал он, – что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

1883

## Бедный волк

Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию.

Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой.

Не легко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее – сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько-таки волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воеет, что на версту кругом у всякой живой твари, от страху да от тоски, душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее волчата, а накормить их нечем.

Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении: «Проклятый волк! убийца! душегуб!» И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: «Разбойник! живорез!» Уволок волк, с месяц тому назад, у бабы овцу – баба-то и о сию пору слез не осушила: «Проклятый волк! душегуб!» А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было: овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось... И баба воеет, и он воеет... как тут разберешь!

Говорят, что волк мужика обездоливает; да ведь и мужик тоже, как обозлится, куда лют бывает! И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. «Душегуб! разбойник! – только и раздается про волка в деревнях, – последнюю корову зарезал! остатнюю овцу уволок!» А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя?

И убьешь-то его, так проку от него нет. Мясо – негодное, шкура жесткая – не греет. Только и корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешись, да на вилы живьем поднимешь: пускай, гадина, капля по капле кровью исходит!

Не может волк, не лишая живота, на свете прожить – вот в чем его беда! Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет – только и всего. Лошадь – тяжести возит, корова – дает молоко, овца – волну, а он – разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк – все «живут», каждый по-своему.

И вот нашелся, однако ж, между волками один, который долгие веки все убивал да разбойничал, и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное.

Жил этот волк смолоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день, и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал; во дворы по деревням забирался; коров резал; лесника однажды до смерти загрыз; мальчика маленького, у всех на глазах, с улицы в лес унес. Слышал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да и только лютей и лютей от этих покоров становился.

– Послушали бы, что в лесу-то делается, – говорил он, – нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала, с жизнью расставаясь, – так неужто ж на это смотреть?

И дожил он таким родом, промежду разбоев, до тех лет, когда волк уж «матерым» называется. Отяжелел маленько, но разбои все-таки не оставил; напротив, словно бы даже полютел. Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михайло Иваныч оплошал: в клочки серые вороги шубу ему разорвали.

Держит медведь волка в лапах и думает: «Что мне с ним, с подлецом, делать? ежели съесть – с души сопрёт, ежели так задавить да бросить – только лес запахом его падали заразишь. Дай, посмотрю: может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать – я его отпущу».

– Волк, а волк! – молвил Топтыгин, – неужто у тебя совести нет?

– Ах, что вы, ваше степенство! – ответил волк, – разве можно хоть один день на свете без совести прожить!

– Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай: каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал – разве это на совесть похоже?

– Ваше степенство! позвольте вам доложить! должен ли я пить-есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? какую вы на этот счет резолюцию изволите положить?

Подумал-подумал Михайло Иваныч, – видит: коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет.

– Должен, – говорит.

– А ведь я, кроме мясного, – ни-ни! Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медком от пчел позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая льгота у вашего степенства есть: зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето – нет той минуты, чтобы я о пище не думал! И все об мясе. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушю?

Задумался медведь над этими волчьими словами, однако все еще попытаться хочет.

– Да ты бы, – говорит, – хоть полегче, что ли...

– Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица – та зудит: рванет раз – и отскочит, потом опять рванет – и опять отскочит... А я прямо за горло хватаю – шабаш!

Еще пуще задумался медведь. Видит, что волк ему правду-матку режет, а отпустить его все еще опасается: сейчас он опять за разбойные дела примется.

– Раскайся, волк! – говорит.

– Не в чем мне, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не ворог, и я в том числе; так в чем же тут моя вина?

– Да ты хоть пообещай!

– И обещать, ваше степенство, не могу. Вот лиса – та вам что хотите обещает, а я – не могу.

Что́ делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил.



– Пренесчастнейший ты есть зверь – вот что я тебе скажу! – молвил он волку. – Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоём месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал! И ты над этими моими словами подумай!

И отпустил волка на все четыре стороны.

Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабаш. Повадился в одну и ту же деревню; в две, в три ночи целое стадо зря перерезал – и ништо ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, потягивается да глаза жмурит. Даже на медведя, своего благодетеля, войной пошел, да тот, по счастью, вовремя спохватился да только лапой ему издали погрозил.

Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб; хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удальца-живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем – а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести – а собаки так и скачут-заливаются. Подождет он хвост, да и бежит с пустом.

– Никак, я уж и собак бояться стал? – спрашивает он себя.

Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет – страсти господни, какой поднимется в деревне переполох!

Только промыслил он однажды ягненокка и волочет его за шиворот в лес. А ягненок-то самый еще несмысленочек был: волочет его волк, а он не понимает. Только одно твердит: «Что такое? что такое?..»

– А я вот покажу тебе, что́ такое... мммерррзавец! – остервенился волк.

– Дяденька! я в лес гулять не хочу! я к маме хочу! не буду я, дяденька, не буду! – вдруг догадался ягненок и не то заблеял, не то зарыдал, – ах, пастушок, пастушок! ах, собачки! собачки!

Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. А вот и малыш – а поди

как плачет: хочется ему жить! Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка! Вот и он, волк, – стар-стар, а все бы годков еще с сотенку пожил!

И припомнились ему тут слова Топтыгина: «На твоём бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал...» Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь – благо, а для него она – проклятие и позор?

И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост, в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть.

Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно: что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем.

Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум – одно говорит, а нутро – чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли в разор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах: «Проклятый! душегуб! живорез!» Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? ведь проклятий-то все-таки не заглушишь! Ох, видно, правду сказал медведь: только и остается, что руки на себя наложить!

Так ведь и тут опять горе: зверь – ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живет он словно во сне, и умрет – словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит; так и тут он только захрапит да корчей его на мгновение сведет – и дух вон. А откуда и как пришла смерть – он и не догадается.

Вот разве голодом он себя изведет... Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или витютня – только этим и сыт. Так даже и тут прочие витютни хором кричат: «Проклятый! проклятый! проклятый!»

Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинаят, нерезонно: не своей волей он разбойничает, – но как не проклинать! Сколько он зверья на своем веку погубил! сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал!

Много лет он в этих мыслях промучился; только одно слово в ушах его и гремело: «Проклятый! проклятый! проклятый!» Да и сам

себе он все чаще и чаще повторял: «Именно проклятый! проклятый и есть; душегуб, живорез!» И все-таки, мучимый голодом, шел на добычу, душил, рвал и терзал...

И начал он звать смерть. «Смерть! смерть! хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!» – день и ночь выл он, на небо гляючи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: «Душегуб! душегуб! душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятья на него со всех сторон не сыпались.

Наконец смерть сжалилась-таки над ним. Появились в той местности «лукаши»<sup>[1]</sup>, и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтоб устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит – зовут. Он встал и пошел. Видит: впереди путь вехами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти...

И вдруг его ударило прямо между глаз.

– Вот она... смерть-избавительница!

1883

## Медведь на воеводстве

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и, в качестве таковых, заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

### I. Топтыгин 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли – он все на одно поворачивал: «Кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!»

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумались. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери – рыскали, птицы – летали, насекомые – ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор, – говорили они, – засыплет он нам – тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил: «Быть назавтра кровопролитию». Что заставило его принять такое решение – неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный это был Чижик, умный: и ведерко таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш Чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушать, как Чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Беспрременно это должен быть внутренний супостат!»

– Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? – рявкнул он, наконец.

Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгреб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: «Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел – только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

– Зачем я его съел? – допрашивал сам себя Топтыгин, – меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» – а я, с первого же шага, чижей плотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

– Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижику съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь – на другую, а скворка – опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

– Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижику съел!

Он – за вороной, а из-за куста зайчика выпрыгнул:

– Бурбон стоеросовый! Чижику съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

– *Risum teneatis, amici!*<sup>[2]</sup> Чижику съел!

Лягушка в болоте квакнула:

– Олух царя небесного! Чижику съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор Чижику съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни направит Михайло Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижику съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок – так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он – слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижику съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым

днем все больше да больше умалается. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы – наши отцы, мы – ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит – стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика до самоубийства – это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» – крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу обидно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

– Так вот оно, общественное-то мнение что значит! – тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло, – а потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с Чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминании об ней, задумывался. Сам по себе, он знал об ней очень смутно, но от Осла слышал, что даже Лев ее боится: «Нехорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть!» История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал – ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! – съел Чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел – и первым делом Чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык – все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он,

вместо того, Чижика съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напередки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижика съел! Чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижика съели – правда ли?»

Пришлось сознаться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оно впечатление истребить...»

– Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! – молвил Михайло Иваныч и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственноручно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии.



Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографии начал – быть бы ему генералом.

## **II. Топтыгин 2-й**

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому, еще до получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда – вон под той сосной – казенный ручной станок, который лесные куранты тискал, но еще при Магницком этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставая, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в

дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («similia similibus curantur»<sup>[3]</sup>), но получил ответ, что Магницкий, волею Божией, помре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, – сказал он себе, – стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано – сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди, лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужика разорил, а все ему мало кажется. «Постой, говорит, я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пущу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провалилась. Повис майор на воздухе; видит, что неминуемое дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся – кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

– Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвоится наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственноручно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

### III. Топтыгин 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! – сказал он себе, прочитав резолюцию Льва, – мало напакостишь – поднимут на смех; много напакостишь – на рогатину поднимут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» – но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях – молчок! И затем, на все его дальнейшие доуки и настояния, Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

– Вот до какого мы времени дожили! – роптал Топтыгин 3-й, – чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить – не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли!» – и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих – очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя – и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел – это бы куда ни шло! – а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли – вот уж подлинно ис-то-ри-я!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминая, а на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать – и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только разбежится – стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос – вот какие твои права! У них – права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет – просто пустое место! Они – друг друга поедом едят, а он – задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра

соделал? узы ему кто разрешил?» – вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» – ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и неблагоприятный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощиывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок» – стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропшут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие – победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения – все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже

самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личную вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды, в дружеской беседе, Осел говорил:

– Об каких это вы все злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле – это: *laissez passer, laissez faire!*<sup>[4]</sup>. Или, по-русски выражаясь: «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!» Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

– Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них... – слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

## Вяленая вобла

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай проявится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать<sup>[5]</sup>.

– Как это хорошо, – говорила вобла, – что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести – ничего такого не будет! Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства – об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишествами обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают – сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же, и за всем тем, не без страху жила, потому что не ровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! – думала она, – такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут, это, шарить, а ты около где-нибудь спряталась, – ан и около пошарят! Где была? по какому случаю? каким манером? Господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! – торжествовала она, – когда угодно и кто угодно приходи! теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних» мыслей и чувств – неизвестно, но что, действительно, на наших глазах много лишнего завелось – с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись – везде какой-то привесок

выпячивается. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, напрямиком пройти, а напрямик буреломом завалило, промоинами исковеркало – ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный человек нынче эту тягость сознает, а какое для начальства от того отягощение – этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в штатах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех – все служит! А нынче придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время – так около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» – за другое возьмется: «Глядите! ведь это – отдай все, да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда с своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами, – везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

Трудно, ах, как трудно среди этой массы привесков жить! приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесполезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел – много их, невиноватых-то этих! сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? – да, вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять – мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партикулярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) – и те стали в тупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: «Господи! пронеси!»

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть, да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? зачем? куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут – иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако повторяю: и она, вместе с прочими, чувствовала, что или от привесков, или по поводу привесков – ей всячески мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего, кроме молока, не осталось, – только тогда она ободрилась и сказала себе: «Ну, теперь мне на все наплевать!»

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней – резонные, чувства – никого не задевающие, совести – на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет – она оглянется, коли есть посторонние – сунет нищему в руку грошик; коли нет никого – кивнет головой: Бог подаст! Встретится с кем-нибудь – непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь – людей насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

– Ах, воблушка! как ты скучно на бобах разводишь! точно тебя тошнит! – воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

– И всем скучно сначала, – стыдливо ответит воблушка. – Сначала – скучно, а потом – хорошо. Вот как поживешь на свете, да пошарят около тебя вдоволь – тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: «Спасибо, что уму-разуму учила!»

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни к чему приступить не умеют, ничему не радуются, ничем не печалются. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: «Потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать...» Это она, это воблушка шепчет!



Спасибо тебе, воблушка! правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку воблушка, одно бы осталось – пропасть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось – ешь! спать вздумалось – спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив – только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, – все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спи, друзья, почивайте! И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери настежь. «Вперед без страха и сомненья!», или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

– И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? – спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

– От рожденья Бог меня разумом наградил, – скромно отвечает воблушка, – а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» – ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: «*Respice finem!*»<sup>[6]</sup>. Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена, а другая – налгана. А главное, конца краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: «Ловко-то ловко, да что же дальше?» – а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность? «Ты никого не тронь – и тебя никто не тронет!» – ведь это целая поэма! Тускленькая, правда, эта пресловутая резонность, но

посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски, – вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: «Вон сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай – всего не разберешь!»

Смотри на эти каракули, и ежели есть охота – доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И затем – живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что, по обстоятельствам, лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов настаивала. «Главное, – твердила она, – чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем, действительно, сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них – это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выпядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида

и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожденная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем – не загадывать.

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных» – и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: «Мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам!» Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: «Моя речь еще впереди». И действительно: раз повергли, в другой – повергли, в третий – опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: «Мало!», другой перекивается: «Много!», а третий прямо бунт объявляет: «Едем, братцы, прямо...» – так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, говорит, мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смиренно и получать присвоенное содержание». – «Как так? почему?» – «А потому, говорит, что так исстари заведено: коли спрашивают – повергай! а не спрашивают – сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уморазуму.

– Откуда у тебя такая ума палата взялась? – обступили ее со всех сторон, – ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились!

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

– Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести – ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе, и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

– Правильно! – согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постановили: – Коли спрашивают – повергать! а не спрашивают – сидеть и получать присвоенное содержание...

Какое правило соблюдается и донныне.

Пробовала вяленая вобла и заблуждения человеческие судить – и тоже хорошо у ней вышло. Тут она наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишние чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть наполняет

сердца робостью, останавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судьбе: «Проверь самого себя!» А ежели у кого совесть, вместе с прочей требухой, из нутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камней – полна пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгнувши, на заблуждения человеческие, и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасен – тоже под номером. Остается только нелицеприятную бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью – полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частности – искалечь частицу: вперед, наука! И так она этою своею резонностью всем понравилась, что скоро про совесть никто и вспомнить без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространению здравых мыслей в обществе. С утра до вечера не уставаючи ходила она по градам и весям и все одну песню пела: «Не расти ушам выше лба! не расти!» И не то чтоб с азартом пела, а солидно, рассудительно, так что и рассердиться на нее было не за что. Разве что вгорячах кто крикнет: «Ишь, паскуда, распелась!» – ну, да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой не обругал...

Вяленая вобла, впрочем, не смущалась этими напутствиями. Она не без основания говорила себе: «Пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь...»

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они – коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы, в случае надобности, и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что это задача мучительная. А между тем сколько, во имя ее, погубляется жизнью, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и

тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок мнимой), то это уже награда, которая считается остаточною, чтобы оправдать целые годы последующих отрав...

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучались, метались, вопрошали и, вместо ответа, видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло не хорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. «Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?» – ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает малопомалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: «Не растут уши выше лба, не растут!»

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умилительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться, что простая вобла, с проявленными молоками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человеконенавистнических воплей. Если б они не взывали к посредничеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согнутием в бараний рог – могла ли бы вобла с успехом вести свою мирно-возродительную пропаганду? Не заклевали ли бы ее? не насмеялись ли бы над нею? И, наконец, не перспектива ли скорпионов и ран, ежеминутно ими, клеветниками, показываемая, повлияла на решение пестрых людей?

Некоторые из клеветников даже устраивали на всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, но камень за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно, – говорили они, – мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера упразднена, а на место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашенная жизнь. Но надолго ли? но прочно ли наше отрезвление – вот вопрос. В этом смысле мирный

характер, который ознаменовал процесс нашего возрождения, наводит на очень серьезные мысли. До сих пор мы знали, что заблуждения не так-то легко полагают оружие даже перед очевидностью совершившихся фактов, а тут вдруг, нежданно-негаданно, благодаря авторитету пословицы, – положим, благонамеренной и освещенной вековым опытом, но все-таки не более как пословицы, – является радикальное и повсеместное отрезвление! Полно, так ли это? искренно ли состоявшееся на наших глазах обращение? не представляет ли оно искусного компромисса или временного *modus vivendi*<sup>[7]</sup>, допущенного для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождение, признаков того легковесного либерализма, который, избегая такие испытанные средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогнать тяготеющую над нами хмару? Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше есть не что иное, как разношерстный и бесхарактерный агломерат всевозможных веяний и наслоений и что с успехом действовать на этот агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: «Теперь у нас балы начнутся». Гостинодворцы развешивали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: «Надо дело делать», но какое – не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: «Не растут уши выше лба! не растут!»

– Помилуй, воблушка! да ведь это только «тон», а не «дело», – возражают ей, – дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется – кто же его делать-то будет?

– Вы, Иван Иванович, будете дело делать?

– Где мне, Иван Никифорич! Моя изба с краю... вот разве вы...

– Что вы! что вы! да разве я об двух головах! ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного – изба с краю, другой – не об двух головах, третий – чего-то не забыл... все плядут, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки – как плети...

«Уши выше лба не растут!» – хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? – положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? – прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что?»

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое, – говорили и писали они, – учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы, с самого начала, предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во

внимание. «Caveant consules!»<sup>[8]</sup> – повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: не зевай!

Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки, в конце концов, ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной – в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: «Годиков через сто я непременно все это тисну!»

*1886*



## Орел-меценат

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И стати у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городского, то непременно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, говорят, городской бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, – простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... простил! Простил?!» – вот что в особенности пленяло. «Кого простил? – мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?»

Дальше – больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он – птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городского может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они, в то же время, сильны, дальнзорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их, все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как верят поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных

местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

– Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце – инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи – кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы – величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

– Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и все.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона – птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы, в особенности, считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется – ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется – ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в голову тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!»

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворные историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолубив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянец на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни

ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слышал: что эта птица – малая, не стоит из-за ее клюв марасть.

– Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? – спросил сокол.

– Какой такой Бонапарт?

– То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было», – а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову – и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье – свет, а неученье – тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» – ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали, – значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

– Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

– Что ж, я не прочь от наук! – цыркнул орел.

Сказано – сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи – новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей – академию де сиянс, да кстати уж и вороньятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела

нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, – а орел подтвердил: «Имянно!»

Наконец снегирь надоел.

– Следующий! – цыкнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца, – говорил дятел, – трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная – ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся – его отец владыкою над пустыней сделал; а Орелко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил – воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолжить, как уже орел в нетерпении кричал:

– Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что Бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел – не понимает орел, да и шабаш!

– Что этот дуралей бормочет! – крикнул он, наконец, – позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир

«Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо «Орел», подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб... за... хх...», а сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

– Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел – сколько в запасе осталось? – с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв... зз... рrrr...»

– Уйди, постылая! – кротко огрызнулся орел.

– Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

– Второй раз говорю: уйди!

– Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

– Вот тебе задача, – сказал он, – нагреблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну – тебе, другую – всем прочим челядинцам, – сколько на твою долю достанется?

– Все, – отвечал орел.

– Ты говори дело, – возразил сокол. – Ежели бы «все», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «все», а холоп осмеливается возражать: «Не все». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличить не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

– А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следа. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобочка воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем.

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судьбища...

– Шабаш! – вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

– Знаки препинания ставить умеешь?

– Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как то: кавычки, тире, скобки – всегда, по сущей совести, становлю.

– А женский пол от мужеского отличить можешь?

– Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральные карты.

Дальше – больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали – масса воронья, которое бессовестно плодилось. И



чем больше плодилось, тем больше накапливалось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И все на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: «А что бишь на этот счет в азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

– Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе – об этом он умолчал.

1886

## Карась-идеалист

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» – неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

– Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

– Вот ужo увидишь!

Карась – рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но, чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает в множество в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, – не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Пospорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирает карась.

– Не верю, – говорил он, – чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье – не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно делается общим достоянием!

– Дождись! – иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и беспокойно. Это – рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у нее на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распрю видит; вместо прогресса – всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

– И дождись! – огрызается карась, – и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности – но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма – совершившийся факт, а свет – чаемое будущее. И будет свет, будет!

– Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

– Каких таких щук? – удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: «на то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

– Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-

нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали дискутировать.

– В жизни первенствующую роль добро играет, – разглагольствовал карась, – зло – это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

– Держи карман!

– Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! разве это ответ?

– Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты – вот тебе и сказ весь!

– Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой – об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История – это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

– А ты, видно, доподлинно знаешь, что и зло и безумие посрамлены? – подтрунивал ерш.

– Не посрамлены еще, но будут посрамлены – это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, – и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и сама сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли – в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче – шабаш. Неводы, да верши, да уды – больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

– А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

– В какую такую уху? – удивлялся карась.

– Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слышал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

– Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, – объявлял ерш.

– Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

– Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?» И с этим уплыла.

– Что же мне теперича делать?

– Изготавливаться – только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

– Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

– Глуп ты – вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

– Не может такого закона быть! – искренно возмущался карась. – И щука зря не имеет права плотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

– Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

– Вот кабы все рыбы между собой согласились... – загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? – думалось ему, – того пляди, проврется, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

– А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! – убеждал он карася, – не для чего пасть-то разевать: можно и шепотком, что нужно, сказать.

– Не хочу я шептаться, – продолжал карась невозмутимо, – а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

– С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! – кричал он на карася и, наостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и плуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст – в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнет! А об головлях, язях, линиях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

– Посмотри ты на себя, – говорил он карасю, – ну, какую ты, не ровен час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот – чутошный. Даже чешуя на тебе – и та несерьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости – как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

– Да за что же меня есть, коли я не провинился? – по-прежнему упорствовал карась.

– Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется – только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: «Вот кабы все рыбы между собой согласились...» А что, если бы ракушки между собой согласились – сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

– Но ракушки – ведь это... – пробормотал он смущенно.

– Ракушки – ракушки, а караси – караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями – щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

– Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были – это ты правду сказал, – объяснил он ершу, – а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

– Кто же тебе это сказал?

– Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не пролотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их – сами в рот лезут. Ну, а карась – совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, – так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьезную пакость сделал – ну, тогда, конечно...

– Вот как щука пролотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалкивал бы.

– Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство стать! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

– Чудак! да ведь намеднишь, на плазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

– Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями случилось: ино их съели, ино в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

– Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся – безнаказанность

полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

– Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! – ораторствовал он, – чтобы каждая за всех, а все за каждую – вот когда настоящая гармония осуществится!

– Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! – расхолаживал его ерш.

– Я, брат, подъеду! – стоял на своем карась, – я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

– А ну-тка, скажи!

– Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

– Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иголкой живот прокалю?

– Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

– Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас, с малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!

– А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

– Все-таки...

– То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

– Не в тине, а вообще...

– Например?

– Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: «Не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!»

– А он тебя, за грубость, на сковороду либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопыи чувства надо иметь – вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или еще:

– Рыбы не должны рыбами питаться, – бредил наяву карась. – Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И все это добро, все на потребу.



– А для щук на потребу караси, – отрезвлял его ерш.

– Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

– А ежели тот закон исполняться не будет?

– Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

– И ладно будет?

– Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему – ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку постерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: «За то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этою заводью; будь ты над нею начальник!»

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплётков ни наплели, а она – рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

– Слышала я, – молвила щука, – что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

– Об счастья я больше думаю, – скромно, но с достоинством ответил карась. – Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

– Гм... и ты думаешь, что такому делу статья возможно?

– Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

– Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

– Так что же такое?

– В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съем?

– Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

– Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? – обратилась щука к головлю.

– В забвении, ваше высокостепенство! – ловко вывернулся головель.

– Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

– А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые – бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче – ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого – вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно, в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

– Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так значит, по-твоему, и я работать буду должна?

– Как прочие, так и ты.

– В первый раз слышу. Поди, проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без

всякой робости, но даже против прежнего веселее.

– Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь? – прямо поставила вопрос щука.

– Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

– Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

– Сицилизмом, ваше высокостепенство!

– Так я и знала. Давненько я уж слышу: «Бунтовские, мол, речи карась говорит!» Только думаю: «Дай лучше сама послушаю...» Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

– Я, ваше высокостепенство, ничего, – пробормотал он в смущении, – это я по простоте...

– Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты – карась как карась, – только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головы и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

– Хоть ты мне и супротивник, – начала опять первая щука, – да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался,

защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

– Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке – узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

– Вот они, диспуты-то наши, каковы!

*1884*

# История одного города

## От издателя

Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города (или края) в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятю. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роаясь в глуповском городском архиве, я случайно попал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского Летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройство мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина – распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором – трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем – возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых – и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости<sup>[2]</sup>.

Летопись ведена преемственно четырьмя городскими архивариусами<sup>[10]</sup> и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящею сальною свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод, или «опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов, к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «об административном всех градоначальников единомыслии», «о благовидной градоначальников наружности», «о спасительности усмирений (с картинками)», «мысли при взыскании недоимок», «превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация «о строгости». Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников (многие из них даже подписаны) и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы «Летописца».

Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом – как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в

прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности.

Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований, издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог «Летописца» и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче.



## Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца<sup>[11]</sup>

Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся в сем случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сияющие<sup>[12]</sup>, и только у себя мы таковых не обрящем? Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслух проповедовать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают.

Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь<sup>[13]</sup>, – и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет и не иметь не может. Взгляни на первую лужу – и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо – и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно, и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону – и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюхо и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем горé<sup>[14]</sup> устремляющаяся, или же стремящееся дóлу<sup>[15]</sup> брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготавливать... О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!

Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городского архивариуса (получающего в месяц два рубля содержания, но и за всем тем славословящего), кúпно<sup>[16]</sup> с троими моими предшественниками, неумытными<sup>[17]</sup> устами воспеть хвалу славных оных Неронов<sup>[18]</sup>, кои не безбожием и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град Глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного,

мы не решились прибегнуть к бряцанию и, положась на волю божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особого намерения, которое мы имели, приступая к ней.

Сие намерение есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глугов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную матерю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя: по силам ли будет мне сие бремя? Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники. Всего же числом двадцать два, следовавших непрерывно, в величественном порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя; другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность представляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что не малое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий?

Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и не малым, для летописателя, облегчением. Ибо в чем состоит, собственно, задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? Нет, и не в этом. В чем же? А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия и об оном предать потомству в надлежащее назидание.

В сем виде взятая, задача делается доступною даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд<sup>[19]</sup>, в котором замыкается разлитое повсюду в избытии славословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимая в нем сладкая славословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет: вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержания два рубля медных в месяц!

Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас – благочестие, Рим заражало буйство, а нас – кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальники.

И еще скажу: летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса: Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка, Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем «Архиве». А затем богу слава и разглагольствию моему конец.

## О корени происхождения глуповцев

«Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облака, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло»<sup>[20]</sup>.

Так начинает свой рассказ летописец и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает:

Был, говорит он, в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычки «тять» головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадетя – об стену тьпают; богу молиться начнут – об пол тьпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, черنونёбые, долбежники, проломленные головы слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно» и были наперед уверены, что «стыд глаза не выест». Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешки кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев и нечем было «людской завод» продолжать, тогда головотяпы первые взяли за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор головами тьпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро это они сделали, – говорит летописец, –

знали, что головы у них на плечах растут крепкие, – вот и предложили».

И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с божью помощью, перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости. А именно: в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству: пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками: вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами.

Однако кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную.

Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри, с очевидною целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложенном тесте<sup>[21]</sup> утопили, потом свинью за бобра купили да собаку за волка убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец утомились и стали ждать, что из этого выйдет.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели; кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А рознь да галденье пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова

головами тяматься, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя.

– Он нам все мигом предоставит, – говорил старец Добромысл, – он и солдатов у нас наделает, и острог какой следоват выстроит! Айда, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудились, да, спасибо, случился тут пошехонец-слепород, который эти три сосны как свои пять пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор.

– Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? – спросил князь посланных.

– Мы головотяпы! нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих – и тех шапками закидали! – хвастали головотяпы.

– А что вы еще сделали?

– Да вот комара за семь верст ловили, – начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно... Посмотрели они друг на дружку и прыснули.

– А ведь это ты, Пётра, комара-то ловить ходил! – насмеялся Ивашка.

– Ан ты!

– Нет, не я! у тебя он и на носу-то сидел!

Тогда князь, видя, что они и здесь, перед лицом его, своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом.

– Глупые вы, глупые! – сказал он, – не головотяпами следует вам по делам вашим называться, а глуповцами! Не хочу я владеть глупыми! а ищите такого князя, какого нет в свете глупее, – и тот будет владеть вами.

Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честью.

Задумались головотяпы над словами князя; всю дорогу шли и все думали.

– За что он нас раскостил? – говорили одни, – мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого!

Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели.

– Что же! – возражали они, – нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет! Сейчас мы ему коврижку в руки: жуй, а нас не замай!

– И то правда, – согласились прочие.

Воротились добры молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал, божку съели... Однако толку все не было. Думали-думали и пошли искать глупого князя.

Шли они по ровному месту три года и три дня, и всё никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй, рукавицы торчат за поясом, а он других ищет.

– Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? – взмолились головотяпы.

– Знаю, есть такой, – отвечал рукосуй, – вот идите прямо через болото, как раз тут.

Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло («многие за землю свою поревновали», говорит летописец); наконец, вылезли из трясины и видят: на другом краю болотины, прямо перед ними, сидит сам князь – да глупый-преглупый! Сидит и ест пряники писанные. Обрадовались головотяпы: вот так князь! лучшего и желать нам не надо!

– Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? – молвил князь, жуя пряники.

– Мы головотяпы! нет нас народа мудрее и храбрее! Мы гущеедов – и тех победили! – хвастались головотяпы.

– Что же вы еще сделали?

– Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили... – начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их.

– Я уж на что глуп, – сказал он, – а вы еще глупее меня! Разве щука сидит на яйцах? или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я владеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, – и тот будет владеть вами!

И, наказав жезлом, отпустил с честью.

Задумались головотяпы: надул курицын сын рукосуй! Сказывал, нет этого князя глупее – ан он умный! Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем онучи сушили, на

сосну Москву смотреть лазили. И все нет как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Пётра Комар.

– Есть у меня, – сказал он, – друг-приятель, по прозванию вор-новотор, уж если экая выжига князя не сыщется, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную!

С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали новотора-вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу<sup>[22]</sup>, головотяпы же давали грош<sup>[23]</sup> да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя.

– Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! – говорили головотяпы новотору-вору. – На что нам мудрого-то, ну его к ляду!

И повел их вор-новотор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучею, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посереде той поляночки князь сидит.

Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит, это, перед ними князь да умной-преумной; в ружьецо попаливает да сабелькой помахивает. Что ни выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что ни махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-новотор, сделавши такое пакостное дело, стоит брюхо поглаживает да в бороду усмехается.

– Что ты! с ума, никак, спятил! пойдёт ли этот к нам? во сто раз глупее были – и те не пошли! – напустились головотяпы на новотора-вора.

– Ништо! обладим! – молвил вор-новотор, – дай срок, я глаз на глаз с ним слово перемолвлю.

Видят головотяпы, что вор-новотор кругом на кривой их объехал, а на попятный уж не смеют.

– Это, брат, не то, что с «кособрюхими» лбами тятаться! нет, тут, брат, ответ подай: каков таков человек? какого чину и звания? – гуторят они меж собой.

А вор-новотор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что – не слышать. Только и почуяли головотяпы, как вор-новотор говорил: «Драть их, ваша княжеская светлость, завсегда очень свободно».



Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости.

– Что вы за люди? и зачем ко мне пожаловали? – обратился к ним князь.

– Мы головотяпы! нет нас народа храбрее, – начали было головотяпы, но вдруг смутились.

– Слыхал, господа головотяпы! – усмехнулся князь («и таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло!» – замечает летописец), – весьма слыхал! И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали – довольно знаю! Об одном не знаю, зачем же ко мне-то вы пожаловали?

– А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!

– А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей братьев моих с поклоном были?

– А были мы у одного князя глупого да у другого князя глупого ж – и те володеть нами не похотели!

– Ладно. Володеть вами я желаю, – сказал князь, – а чтоб идти к вам жить – не пойду! Потому вы живете звериным обычаем: с беспробного золота пенки снимаете, снох портите! А вот посылаю к вам вместо себя самого этого новотора-вора: пушай он вами дома правит, а я отсель и им и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:

– Так!

– И будете вы платить мне дани многие, – продолжал князь, – у кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его начетверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну – и вы идите! А до прочего вам ни до чего дела нет!

– Так! – отвечали головотяпы.

– И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех – казнить.

– Так! – отвечали головотяпы.

– А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.

– Так! – отвечали головотяпы.

Затем приказал князь обнести послов водкою, да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честью.

Шли головотяпы домой и вздыхали. «Вздыхали не ослабляючи, вопияли сильно!» – свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» – говорили они. И еще говорили: «Такали мы, такали, да и протакали!» Один же из них, взяв гусли, запел:

Не шуми, мати зелена дубровушка!  
Не мешай добру молодцу думу думати,  
Как завтра мне, добру молодцу, на допрос идти  
Перед грозного судью, самого царя...

Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними, – говорит летописец, – старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи песни:

Я за то тебя, детинушку, пожалую  
Среди поля хоромами высокими,  
Что двумя столбами с перекладиною... —

то все пали ниц и зарыдали.

Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. «Так и процвела сия древняя отрасль», – прибавляет летописец.

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару<sup>[24]</sup> с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами и действительно не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом

сычужники. Вор-новотор ходил на них с пушечным снарядом, палил неослабляючи и, перепалив всех, заключил мир, то есть у заугольников ел палтусину<sup>[25]</sup>, у сычужников – сычуги<sup>[26]</sup>. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но новотор, как сущий вор, и тут извернулся: предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом.

После новотора-вора пришел «заместь князя» одоевец, тот самый, который «на грош постных яиц купил». Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхие, калашники, солодатники – все отстаивали старину да права свои. Одоевец пошел против бунтовщиков и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря, потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой чернонёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового одоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел: вышел против бунтовщиков собственной персоною и, перепалив всех до единого, возвратился восвояси. Затем вырвал у одоевца ноздрю и послал его править на Вятку.

– Посылал я сущего вора – оказался вор, – печаловался при этом князь, – посылал одоевца по прозвищу «продай на грош постных яиц» – и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне?

Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: орловцу ли – на том основании, что «Орел да Кромы – первые воры», – или шуянину – на том основании, что он «в Питере бывал, на полу сыпал и тут не упал», но наконец предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду «Проломленных Голов». Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и вместо воеводы встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в Старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там «только грязи довольно». Тогда он Старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание. «Князь же, уздав о том, урезал ему язык».

Затем князь еще раз попробовал послать «вора попроще» и в этих соображениях выбрал калязинца, который «свинью за бобра купил», но этот оказался еще пущим воров, нежели новотор и орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и, «убив их, сжег».

Тогда князь выпучил глаза и воскликнул:

– Несть глупости горшия<sup>[27]</sup>, яко глупость!

«И прибух собственною персоною в Глупов и возопи:

– Запорю!»

С этим словом начались исторические времена.

## **Опись градоначальникам, в разное время в город Глухов от высшего начальства поставленным (1731–1826)**

1) Клементий, Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глухов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усиленно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и, по вырвании ноздрей, сослан в Березов.

2) Ферапонтов, Фотий Петрович, бригадир. Бывший брандмейстер одного же герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками.

3) Великанов, Иван Матвеевич. Обложил в свою пользу жителей данью по три копейки с души, предварительно утопив в реке экономии директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году, в царствование кроткия Елисавет, был уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом и, по урезании языка, сослан в заточение в чердынский острог.

4) Урус-Кугуш-Кильдибаев, Маныл Самылович, капитан-поручик из лейб-кампанцев<sup>[28]</sup>. Отличался безумной отвагой и даже брал однажды приступом город Глухов. По доведении о сем до сведения, похвалы не получил и в 1745 году уволен с распубликованием.

5) Ламврокакис, беглый грек, без имени и отчества и даже без чина, пойманный графом Кирилою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами.

6) Баклан, Иван Матвеевич, бригадир. Был роста трех аршин и трех вершков и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году.

7) Пфейфер, Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец. Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество.

8) Брудастый, Дементий Варламович. Назначен был впопыхах и имел в голове некоторое особое устройство, за что и прозван был «Органчиком». Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся семь дней, как о том будет повествуемо ниже.

9) Двоекуров, Семен Константинович, штатский советник и кавалер. Вымостил Большую и Дворянскую улицы, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал о заведении в Глупове академии. Написал сочинение: «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Будучи крепкого телосложения, имел последовательно восемь амант<sup>[29]</sup>. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна и тем много способствовала блеску сего правления. Умер в 1770 году своею смертью.

10) Маркиз де Санлот, Антон Протасьевич, французский выходец и друг Дидерота. Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в городском саду и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпич, и оттуда с превеликим трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представления у Излера на минеральных водах<sup>[30]</sup>.

11) Фердыщенко, Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме был косноязычен. Недоимки запустил; любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения.

12) Бородавкин, Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и с помощью сих мер взыскал недоимок два рубля с полтиною. Ввел в употребление игру ламуш<sup>[31]</sup> и прованское масло; замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий

дом<sup>[32]</sup>. Умер в 1798 году на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником.

13) Негодяев, Онуфрий Иванович, бывший гатчинский истопник. Размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несопласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгановым (знаменитый в свое время триумvirат<sup>[33]</sup>) насчет конституции, в чем его и оправдали последствия.

14) Микаладзе, князь, Ксаверий Георгиевич, черкашенин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел обольстительную наружность и был столь охоч до женского пола, что увеличил гуповское народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер в 1814 году от истощения сил.

15) Беневоленский, Феофилакт Иринархович, статский советник, товарищ Сперанского по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды и земство. Имел любовную связь с купчихою Распоповою, у которой по субботам едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского. Вновь ввел в употребление, яко полезные, горчицу, лавровый лист и прованское масло. Первый обложил данью откуп, от коего и получал три тысячи рублей в год. В 1811 году за потворство Бонапарту был призван к ответу и сослан в заточение.

16) Прыщ, майор, Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства.

17) Иванов, статский советник, Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ.

18) Дю-Шарио, виконт, Ангел Дорофеевич, французский выходец. Любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении, оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу.

19) Грустилов, Эраст Андреевич, статский советник. Друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до пяти тысяч рублей в год.

20) Угрюм-Бурчеев, бывший прохвост<sup>[34]</sup>. Разрушил старый город и построил другой на новом месте.

21) Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.



В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: «Батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!»

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что, за всем тем, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.

Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты) и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хотин.

Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были по малой мере преждевременны и преувеличенны. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось

глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальствлюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов<sup>[36]</sup>, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» – и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.

Несмотря на непреодолимую твердость, глуповцы – народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не делается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии (таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по «описи» под № 9), но так как они не обзывали глуповцев ни «братцами», ни «робятами», то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые – таких не бывало, – а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали<sup>[37]</sup>, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд.

Так было и в настоящем случае. Как ни воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их.

– Что ж это такое? фыркнул – и затылок показал! нешто мы затылков не видали! а ты по душе с нами поговори! ты лаской-то, лаской-то пронимай! ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй! – Так говорили глуповцы и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, всё приветливые, да добрые, да красавчики – и все-то в мундирах! Вспомнили даже белого грека Ламврокакиса (по «описи» под № 5), вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан (по «описи» под № 6) и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями.

– Натиск, – сказал он, – и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость. И притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель, или, точнее сказать, те пять целей, которых я, с божьею помощью, надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность или, лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании!

И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил:

– А по праздникам будем есть у вас пироги!

– Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали! – вздыхали глуповцы, – а этот что! фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!

Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «Не потерплю!» – и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города: частные пристава поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, будочники позабыли, что значит путем поест, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... А градоначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит злое: «Не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну, как он таким манером целый город выпорет! Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю!» – наконец прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались.

– И хоть бы он делом сказывал, по скольку с души ему надобно! – беседовали между собой смущенные обыватели, – а то цыркает, да и на-поди!

Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустили, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожил, во времена тушинского царика, да еще при Бироне, когда гулящая девка, Танька-Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше: по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх.

В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распушенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома; и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись, за письменным столом и все что-то скребет пером... И вдруг подойдет к окну, крикнет «не потерплю!» – и опять садится за стол и опять скребет...

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию; что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом; хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве.

И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органических дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды, в третьем часу ночи, видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры

градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров<sup>[38]</sup> и погрузился в сон.

Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей?

Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем как рыба и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали спойть его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в ученье мальчишки могли сообщить одно: что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал.

Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру<sup>[39]</sup> в нос бросится.

Среди всех этих толков и пересудов вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции в такой-то день и час прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться.

То был прекрасный весенний день. Природа ликовала; воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судбища. Наконец ожидаемая минута настала.

Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него (по крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки). Он по очереди обошел всех

обывателей и хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончивши с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот... И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. «П... п... плю!» – наконец вырвалось у него из уст... С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и прометью бросился в открытую дверь своей квартиры.

Читая в «Летописце» описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, непохожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника.

– И откуда к нам экой прохвост выискался! – говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.

– Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! – присовокупляли другие.

И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.

И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем вертограда<sup>[40]</sup> сего и радовал бы сердца начальников своею распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его деятельности в самом ее разгаре.

Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедши утром с докладом в его кабинет, увидел

такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали.

Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе как с согласия самого же градоначальника и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе, в числе вещественных доказательств, оказались: долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городского врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап<sup>[41]</sup> задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарпортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована<sup>[42]</sup>.

Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию, и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету пубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний.

Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали,

потому что почувствовали себя сиротами и, сверх того, боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах вместо головы была пустая посудина. Напротив, другие хотя тоже плакали, но утверждали, что за повинование их ожидает не кара, а похвала.

В клубе, вечером, все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель Толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своею собственною головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счел его игрою воображения, но теперь ясно, что градоначальник, в видах собственного облегчения, по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так, как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку<sup>[43]</sup> и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но Младенцеву не дали докончить, потому что при первом упоминании о Байбакове всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника...

Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом, припомнив лондонских агитаторов<sup>[44]</sup> и переходя от одного силлогизма<sup>[45]</sup> к другому, заключила, что измена свила себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив зрителя народного училища, предложили ему вопрос: бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Зритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком; но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах хотя и не порожний, но все равно *как бы* порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал.



Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и сверх того пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание:

«Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым. Глуповский цеховой; у исповеди и святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов и есмь оной секты лжеиерей<sup>[46]</sup>. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой Матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой – не помню, какого числа и месяца, – быв разбужен в ночи, отправился я, в сопровождении полицейского десятского, к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу, и, пришед, застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помавающим<sup>[47]</sup>. Обеспамятев от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: «Раззорю!» и «Не потерплю!». Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем выпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением<sup>[48]</sup> завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только «П-плю!». В сей крайности вознамерились они сгоряча меня на всю

жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург, к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие, по оплошности моей, законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек, по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я, в случае присылки новой головы, оную утвердить и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать? ответить сим честь имею: утвердить могу и действовать она будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил».

Выслушав показание Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выждать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму<sup>[49]</sup> и, заперев градоначальниково тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения.

Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того и еще два дня; пришла наконец и давно ожидаемая петербургская почта, но никакой головы не привезла.

Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустили; недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался; квартальные отбились от рук и нагло бездействовали: официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором, по фалдочкам, хотя и признали лейб-кампанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены

временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы.

В восемь часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно.

Проходит и еще один день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальстволюбие, временно потрясенное странным поведением Брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накапливаются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству и по телеграфу же получил известие, что он за нелепое донесение уволен от службы<sup>[50]</sup>.

Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели – и тоже заплакали; явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить.

Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того чтоб держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами; мало того: она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!»

Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить горящую кладь на дорогу; вторым – незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты.

Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и наконец вывезена на поле в

виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами плуповцы – и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове.

Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж грозен и облаком пресветлым одеян.

Наконец плуповцы не вытерпели: предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом.

Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее как вчера, в виду всех, свел двух купеческих жен.

– Куда ты девал нашего батюшку? – завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним.

– Атаманы-молодцы! где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт! – уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся.

Но волнение не унималось.

– Врешь, переметная сума! – отвечала толпа, – вы нарочно с квартальным стакнулись, чтоб батюшку нашего от себя избыть!

И бог знает чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом... исчезнувший градоначальник!

На нем был надет лейб-кампанский мундир; голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря

на это, он ловко выскочил с телеги, сверкнул на толпу глазами.

– Раззорю! – загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли.

Волнение было подавлено сразу; в этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на «сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение».

– Зачинщики, вперед! – скомандовал градоначальник, все более возвышая голос.

Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей и уже набрали человек с десятков, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот.

В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборщику незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним в виду всей толпы очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который за минуту перед тем был привезен в телеге исправником! Глуповцы так и остолбенели.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой.

Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась <sup>[51]</sup>.

## Сказание о шести градоначальницах. Картина глуповского междоусобия

Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий.

Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для освидетельствования.

Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости едва не сделался источником еще горших затруднений, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников.

Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.

«И лежал бы град сей и дондесь в оной погибельной бездне, – говорит «Летописец», – ежели бы не был извлечен оттоль твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей».

Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската<sup>[52]</sup> двух граждан: Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот (в Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи; впоследствии же оказалась сестрою Марата<sup>[53]</sup> и умерла от угрызений совести), и, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан: Порфишку да другого Ивашку и, ничего не доспев, разошлись по домам.

Между тем измена не дремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И, что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины.

Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида Лукинишна Палеологова, бездетная вдова

непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из старожилов полагали, что событие это совпадало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудной пищей, отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно; во-вторых, нося фамилию Палеологовых, она видела в этом некоторое тайное указание; в-третьих, не мало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды, за оскудением, исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие, – говорит «Летописец», – злоехидная она Ираидка начала действовать».

Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника с своими приспешниками засел в клубе в бостон<sup>[54]</sup>, извлекла из ножен шпагу покойного винного пристава и, напоив, для храбрости, троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Оттоль, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка! теперь нам, братцы, вина будет вволю!»

Когда на другой день помощник градоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Затем, хотя он и попытался вновь захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас же их выпустил. В унынии и тоске он поспешил в городское управление, чтоб узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат, но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен пред Ираидку. Там уже застал он связанного казенных дел стряпчего, который тоже ожидал своей участи.

– Признаете ли вы меня за градоначальницу? – кричала на них Ираидка.

– Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю! – твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Казенных дел стряпчий трясся всем



телом и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца.

– Не о том вас спрашивают, мужняя ли я жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницей? – пуще ярилась Ираидка.

– Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю! – столь твердо отвечал помощник градоначальника, что стряпчий защелкал зубами и заметался во все стороны.

– Что с ними толковать! на раскат их! – вопил Толковников и его единомышленники.

Нет сомнения, что участь этих оставшихся верными долгу чиновников была бы весьма плачевна, если б не выручило их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда Ираида беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководясь пословицей: «Выбивай клин клином», – научил некоторую авантюристку, Клемантинку де Бурбо, предъявить свои права. Права эти заключались в том, что отец ее, Клемантинки, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх сего, новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польскою интригою, эта бездельная проходимица овладела умами почти мгновенно. Опять шархнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку, потом пошли к Трубочистихе и дотла разорили ее заведение, потом шархнулись к реке и там утопили Прошку да четвертого Ивашку.

В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Клемантинкою толпа, посреди которой недреманным оком<sup>[55]</sup> бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников немедленно освободили.

– Что, старички! признаете ли вы меня за градоначальницу? – спросила беспутная Клемантинка.

– Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаем! – мужественно отвечал помощник градоначальника.

– Ну, Христос с вами! отведите им по клочку земли под огороды! пускай сажают капусту и пасут гусей! – коротко сказала Клемантинка



и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепились Ираидка.

Произошло сражение; Ираидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера.

– Сдайся! – говорила Клемантинка.

– Покорись, бесстыжая! да уйми своих кобелей! – храбро отвечала Ираидка.

Однако к утру следующего дня Ираидка начала ослабевать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданской храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбивать осаждающих Ираидке необходимо было усмирять измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решила умереть геройской смертью и, собрав награбленные в казне деньги, в виду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером.

Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли свинопасом. Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку.

Вести о «глуповском нелепом и смеха достойном смятении» достигли наконец и до начальства. Велено было «беспутную оную Клемантинку, сыскав, представить, а которые есть у нее сообщники, то и тех, сыскав, представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке занапрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали». Но известия о назначении нового градоначальника все еще не получалось.

Между тем дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша, ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в помпадуршах. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Семку и только что хотели спустить туда же пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином Силой Терентьевым Пузановым.

– Атаманы-молодцы! – говорил Пузанов, – однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим!

– Правда! – согласились опомнившиеся атаманы-молодцы.

– Стой! – кричали другие, – а зачем Ивашко галдит? Галдеть разве велено?

Пятый Ивашко стоял ни жив ни мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны.

В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную Клемантинку. Штокфиш была полная белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.

– Ишь толстомясяя! пупкí-то нагуляла! – раздалось в разных местах.

Но Штокфиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием.

– Атаманы-молодцы! – гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую от водки Клемантинку, – вот беспутная она Клемантинка, которую велено, сыскав, представить! видели?

– Видели! – шумела толпа.

– Точно видели? и признаете ее за ту самую беспутную оную Клемантинку, которую велено, сыскав, немедленно представить?

– Видели! признаем!

– Так выкатить им три бочки пенного! – воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам, и не торопясь выехала из толпы.

– Вот она! вот она, матушка-то наша Амалия Карловна! теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь! – гаркнули атаманы-молодцы вслед уезжающей.

В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех пятый Ивашко. Беспутную оную Клемантинку посадили в клетку и вывезли на площадь; атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, потчевали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце.

Легкость, с которою толстомясяя немка Штокфиш одержала победу над беспутною Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, как только уничтожила Раидку, так сейчас же заперлась

с своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Напрасно пан Кшепшицюльский и пан Пшекшицюльский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали – Клемантинка через пять минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь Клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу.

Неустрасимый штаб-офицер (из обывателей) был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полная; начальствующих не было; предводитель удрал в деревню, старший квартальный зарылся с смотрителем училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его, штаб-офицера, сыскивали по городу, и за поимку назначено было награды алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинною, как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот.

Легко было немке справиться с беспутною Клемантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Клемантинкина паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием.

Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то два парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили наутек, но были остановлены.

– Что вы тут делаете? – спросили паны.

– Да вот, Нелькины ворота дегтем мажем! – сознался один из парней, – очень она ноне на все стороны махаться стала!

Паны переглянулись и как-то многозначительно цыркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка, Анеля Алоизиевна Лядоховская, и что хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадурши, но тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу.

Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии, по казенной подорожной, чиновника.

– Кто ты? и с чем к нам приехал? – спрашивали глуповцы у чиновника.

– Чиновник я из губернии (имярек), – отвечал приезжий, – и приехал сюда для розыску бездельных Клемантинкиных дел!

– Врет он! Он от Клемантинки, от подлой, подослан! волоките его на съезжую! – кричали атаманы-молодцы.

Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий, напрасно показывал какие-то бумаги, народ ничему не верил и не выпускал его.

– Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали – да пустое дело вышло! а с тобой нам ссылатся не пригоже, потому ты, и по обличью видно, беспутной оной Клемантинки лазутчик! – кричали одни.

– Что с ним по пустякам лясы точить! в воду его – и шабаш! – кричали другие.

Несчастливого чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов.

Между тем Амалия Штокфиш распорядилась: назначила с мещан по алтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю да по голове сахару по большой. Потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника градоначальника и стряпчего, которые гнали хворостиной гусей с луга.

– Ну что, старички? одумались? признаете меня? – спросила она их благосклонно.

– Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем! – твердо ответил помощник градоначальника.

– Ну, Христос с вами! пасите гусей! – сказала толстомясая немка и проследовала далее.

К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупова сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника, которого, для вернейшего испытания, посадили в темную и тесную каморку, исстари носившую название «большого блошиного завода» в отличие от малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро также не благоприятствовало проискам польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. «Толстомясая немка», обманутая наружной тишиной, сочла себя вполне утвердившеюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она, для формы, созвала опытнейших городских будочников и открыла совещание. Будочники единогласно советовали: первое, беспутную оную Клемантинку немедля утопить, дабы не смущала народ и не дразнила; второе, помощника градоначальника и стряпчего пытаться, и, в-третьих, неустрашимого штаб-офицера, сыскав, представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошиного завода в малый.

Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся дотеле на задних дворах, робко, но твердым шагом выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшись с стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошинный завод, и предрекал Глупову великие от того бедствия. Сила Терентьев Пузанов при этих словах тоскливо замотал головой, так что если б атаманы-молодцы были крошечку побойчее,

то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. С другой стороны, и «беспутная она Клемантинка» оказала немаловажную услугу партии порядка...

Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было, в часы досуга, приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев.

– Что, Клемантинка, сладко? – хохотали одни, видя, как «беспутная» вертелась от боли.

– А сколько, братцы, эта паскуда винища у нас слопала – страсть! – прибавляли другие.

– Ваше я, что ли, пила? – огрызалась беспутная Клемантинка, – кабы не моя несчастная слабость, да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня ужо, какова я есть!

– Толстомясая-то тебе небось прежде, какова она есть, показала!

– То-то «толстомясая»! Я, какова ни на есть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку!

Приздумались глуповцы над этими Клемантинкиными словами. Загадала она им загадку.

– А что, братцы! ведь она, Клемантинка, хоть и беспутная, а правду молвила! – говорили одни.

– Пойдем разнесем толстомясую! – галдели другие.

И если б не подоспели тут будочники, то несдобровать бы «толстомясой», полететь бы ей вниз головой с раската! Но так как будочники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам.

Но торжество «вольной немки» приходило к концу само собою. Ночью, едва успела она сомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно Клемантинке, в клетку, но было уже поздно.

Сильная рука пана Кшешпицюльского крепко держала ее за стан, а Нелька Лядоховская, «разъярившись неслыханно», требовала к ответу.

– Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тем

многих людишек в соблазн ввела? – спрашивала ее Лядоховская.

– Правда, – отвечала Амалька, – только не обманным образом и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей истине.

– И с чего тебе, паскуде, такое смехотворное дело в голову взбрело? и кто тебя, паскуду, тому делу научил? – продолжала допрашивать Лядоховская, не обращая внимания на Амалькин ответ.

Амалька обиделась.

– Может быть, и есть здесь паскуда, – сказала она, – только не я.

Сколько затем ни предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала; сколько ни принуждали ее повиниться – не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутною Клемантинкой.

«Ужасно было видеть, – говорит летописец, – как оные две беспутные девки, от третьей, еще беспутнейшей, друг другу на съедение отданы были! Довольно сказать, что к утру на другой день в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было!»

Проснувшись, плуповцы с удивлением узнали о случившемся; но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться.

– Ах, ляд вас побери! – говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину. – Что ж мы, однако, теперь будем делать? – спрашивал он в тоске помощника градоначальника.

– Надо орудовать, – отвечал помощник градоначальника, – вот что! не пустить ли, сударь, в народе слух, что оная шельма Анелька заместо храмов божиих костелы везде ставить велела?

– И чудесно!

Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротою невероятною. В пригородной солдатской слободе объявилась еще претендентша, Дунька Толстопятая, а в стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка Ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников «для лакомства». Таким образом, приходилось отражать уже не одну, а разом трех претендентш.

И Дунька и Матренка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в

подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волосы по ветру, в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно иступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова.

Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне, и сколько тут было перебито и перетоплено тел народных – того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судбище; всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось, и так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось: шлеп-шлеп-шлеп! К четырем часам пополудни загорелась съезжая изба; глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь без остатка. Опять началось судбище; стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором и бездельником пятым Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания, но в эту самую минуту в пушкарской слободе загорелся тараканий малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остачи. Тогда поймали Матренку Ноздрю и начали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтоб она сказала, кто ее, сущую бездельницу и воровку, на воровство научил и кто в том деле ей пособлял? Но Матренка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдала никого.

Среди этой общей тревоги об шельме Анельке совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она под шумок снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей и не водилось, а паны Кшешпицюльский и Пшекшицюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна Толстопятая Дунька, но с нею совладать было решительно невозможно.

– А надо, братцы, изымать ее беспременно! – увещевал атаманов-молодцов Сила Терентьич Пузанов.

– Да! поди сунься! ловкой! – отвечали молодцы.

Был, по возмущению, уже день шестой.

Тогда произошло зрелище умиленное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую



уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного<sup>[56]</sup> греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни Матренкой. Решили действовать единодушно и прежде всего снести с пригородами. Как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер.

– Сограждане! – начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слышал.

Тем не менее глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления; но он, до поимки Дуньки, с твердостью от того отказался. Послышались в толпе вздохи; раздались восклицания: «Ах! согрешения наши великие!» – но помощник градоначальника был непоколебим.

– Атаманы-молодцы! в ком еще крамола осталась – выходи! – гаркнул голос из толпы.

Толпа молчала.

– Все очистились? – допрашивал тот же голос.

– Все! все! – загудела толпа.

– Крестись, братцы!

Все перекрестились, объявлено было против Дуньки Толстопятой общее ополчение.

Пригороды между тем один за другим слали в Глупов самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует вырвать с корнем и для начала прежде всего очистить самих себя. Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумнова. «Точию же, братие, сами себя прилежно испытайте, – писали тамошние посадские люди, – да в сердцах ваших гнездо крамольное не свиваемо будет, а будете здоровы и пред лицом начальственным не злокозненны, но добротщательны, достохвальны и прелюбезны». Когда читалась эта отписка, в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Аксинья Гунявая, воспалившись ревностью великою, тут же высыпала из кошелья два двугривенных и положила основание капиталу, для поимки Дуньки предназначенному.

Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее, как из ружья.

– Ишь шельма, какі артикулы пушкой выделявает! – говорили глуповцы и не смели подступиться.

– Ах, съешь ты клопы! – восклицали другие.

Но и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбежались. Решили обороняться от них варом, и средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия, так как никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими, – и попытка не удалась.

– Сдавайся, Дунька! не тронем! – кричали осаждающие, думая покорить ее льстивыми словами.

Но Дунька отвечала невежеством.

Так шло дело до вечера. Когда наступила ночь, осаждающие, благоразумно отступив, оставили для всякого случая у клоповного завода сторожевую цепь.

Оказалось, однако, что стратагема с варом осталась не без последствий. Не находя пищи за пределами укрепления и раздраженные запахом человеческого мяса, клопы устремились внутрь искать удовлетворения своей кровожадности. В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем: то испускала дух Толстопятая Дунька, изъеденная клопами. Тело ее, буквально представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащим посреди избы и около нее пушку и бесчисленные стада передавленных клопов. Прочие клопы, как бы устыдившись своего подвига, попрятались в щелях.

Был, после начала возмущения, день седьмой. Глуповцы торжествовали. Но несмотря на то что внутренние враги были побеждены и польская интрига посрамлена, атаманам-молодцам было как-то не по себе, так как о новом градоначальнике все еще не было ни слуху ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленные мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравятся ихние недавние затеи новому начальнику.

Наконец в два часа пополудни седьмого дня он прибыл. Вновь назначенный, «сущий» градоначальник был статский советник и кавалер Семен Константинович Двоекуров.

Он немедленно вышел на площадь к буянам и потребовал зачинщиков. Выдали Степку Горластого да Фильку Бесчастного.

Супруга нового начальника, Лукерья Терентьевна, милостиво на все стороны кланялась.

Так кончилось это бездельное и смеха достойное неистовство; кончилось и с тех пор не повторялось.

## Известие о Двоекурове

Семен Константинович Двоекуров градоначальствовал в Глупове с 1762 по 1770 год. Подробного описания его градоначальствования не найдено, но, судя по тому, что оно соответствовало первым и притом самым блестящим годам екатерининской эпохи, следует предполагать, что для Глупова это было едва ли не лучшее время в его истории.

О личности Двоекурова «Глуповский летописец» упоминает три раза: в первый раз в «краткой описи градоначальникам», во второй – в конце отчета о смутном времени и в третий – при изложении истории глуповского либерализма (см. описание градоначальствования Угрюм-Бурчеева). Из всех этих упоминаний явствует, что Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более нежели серьезно. Нельзя думать, чтобы «Летописец» добровольно допустил такой важный биографический пропуск в истории родного города; скорее должно предположить, что преемники Двоекурова с умыслом уничтожили его биографию, как представляющую свидетельство слишком явного либерализма и могущую послужить для исследователей нашей старины соблазнительным поводом к отыскиванию конституционализма даже там, где, в сущности, существует лишь принцип свободного сечения. Догадку эту отчасти оправдывает то обстоятельство, что в глуповском архиве до сих пор существует листок, очевидно принадлежавший к полной биографии Двоекурова и до такой степени перемаранный, что, несмотря на все усилия, издатель «Летописи» мог разобрать лишь следующее: «Имея немалый рост... подавал твердую надежду, что... Но, объят ужасом, не мог сего выполнить... Вспоминая, всю жизнь грустил»... И только. Что означают эти загадочные слова? С полной достоверностью отвечать на этот вопрос, разумеется, нельзя, но если позволительно допустить в столь важном предмете догадки, то можно предположить одно из двух: или что в Двоекурове, при немалом его росте (около трех аршин), предполагался какой-то особенный талант (например, нравиться женщинам), которого он не оправдал, или что на него было

возложено поручение, которого он, сробев, не выполнил. И потом всю жизнь грустил.

Как бы то ни было, но деятельность Двоекурова в Глупове была, несомненно, плодотворна. Одно то, что он ввел медоварение и пивоварение и сделал обязательным употребление горчицы и лаврового листа, доказывает, что он был по прямой линии родоначальником тех смелых новаторов, которые спустя три четверти столетия вели войны во имя картофеля. Но самое важное дело его градоначальствования – это, бесспорно, записка о необходимости учреждения в Глупове академии.

К счастью, эта записка уцелела вполне<sup>[57]</sup> и дает возможность произнести просвещенной деятельности Двоекурова вполне правильный и беспристрастный приговор. Издатель позволяет себе думать, что изложенные в этом документе мысли не только свидетельствуют, что в то отдаленное время уже встречались люди, обладавшие правильным взглядом на вещи, но могут даже и теперь служить руководством при осуществлении подобного рода предприятий. Конечно, современные нам академии имеют несколько иной характер, нежели тот, который предполагал им дать Двоекуров, но так как сила не в названии, а в той сущности, которую преследует проект и которая есть не что иное, как «рассмотрение наук», то очевидно, что, покуда царствует потребность в «рассмотрении», до тех пор и проект Двоекурова удержит за собой все значение воспитательного документа. Что названия произвольны и весьма редко что-либо изменяют – это очень хорошо доказал один из преемников Двоекурова, Бородавкин. Он тоже ходатайствовал об учреждении академии, и когда получил отказ, то без дальнейших размышлений выстроил вместо нее съезжий дом. Название изменилось, но предположенная цель была достигнута – Бородавкин ничего больше и не желал. Да и кто же может сказать, долго ли просуществовала бы построенная Бородавкинским академия и какие принесла бы она плоды? Быть может, она оказалась бы выстроенною на песке; быть может, вместо «рассмотрения» наук занялась бы насаждением таковых? Все это в высшей степени гадательно и неверно. А со съезжим домом – дело верное: и выстроен он прочно, и из колеи «рассмотрения» не выбьется никуда.

Вот эту-то мысль и развивает Двоекуров в своем проекте с тою непререкаемою ясностью и последовательностью, которыми, к сожалению, не обладает ни один из современных нам прожектеров. Конечно, он не был настолько решителен, как Бородавкин, то есть не выстроил съезжего дома вместо академии, но решительность, кажется, вообще не была в его нравах. Следует ли обвинять его за этот недостаток? или, напротив того, следует видеть в этом обстоятельстве тайную склонность к конституционализму? – разрешение этого вопроса предоставляется современным исследователям отечественной старины, которых издатель и отсылает к подлинному документу.

## Голодный город

1776-й год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых шесть лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенка. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенною настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик».

– А ну, братик-сударик, ложись! – говорил он провинившемуся обывателю.

Или:

– А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо! потому, братик-сударик, что недоимка – это святое дело!

Понятно, что после затейливых действий маркиза де Сан-плота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и «благоденственным» и «удивления достойным». В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить «без утеснения» не в пример лучше, чем жить «с утеснением».

– Нужды нет, что он парадов не делает да с полками на нас не ходит, – говорили они, – зато мы при нем, батюшке, свет úзрили! Теперича, вышел ты за ворота: хошь – на месте сиди; хошь – куда хошь иди! А прежде сколько одних порядков было – и не приведи бог!

Но на седьмом году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный и несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности: скинул замасленный халат и стал ходить

по городу в вицмундире. Начал требовать, чтоб обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба, и к довершению всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б, в минуту крайнего раздражения глуповцев, их не осенила мысль: «А ну как, братцы, нас за это не похвалят!»

Дело в том, что в это самое время на выезде из города, в слободе Навозной, цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте, она была полна, бела и румяна; имела большие серые глаза навывкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят и ходила по улице «серой утицей». Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене: молод, крепок, красив. Ходил он в плисовой поддевке и в поярковом грешневике<sup>[58]</sup>, расцвеченном павьими перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души в Дмитрие. Частенько похаживали они в соседний кабак и, счастливые, распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на их согласную жизнь.

Долго ли, коротко ли они так жили, только в начале 1776 года в тот самый кабак, где они в свободное время благодумствовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в это самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.

– Хочешь, молодка, со мною в любви жить? – спросил бригадир.

– А на что мне тебя... гунявого?<sup>[59]</sup> – отвечала Аленка, с наплюстью смотря ему в глаза, – у меня свой муж хорош.

Только и было сказано между ними слов; но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать «с утеснением». Сам же, надев вицмундир, пошел в ряды и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев:



– Кто ваш начальник? сказывайте! или, может быть, не я ваш начальник?

С своей стороны, Дмитрий Прокофьев, вместо того чтоб смириться да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные слова, а Аленка, вооружась ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала:

– Ай да бригадир! к мужней жене, словно клоп, на перину всползти хочет!

Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавши об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своею единоличною властью старик поопасился. Собравши излюбленных плуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания слушников.

– Вам, старички-братики, и книги в руки! – либерально прибавил он, – какое количество по душе назначите, я наперед согласен! Потому теперь у нас время такое: всякому свое, лишь бы поронцы были!

Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли следующий ответ:

– Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их, шельмов, и учить следует!

Стал бригадир считать звезды («очень он был прост», – повторяет по этому случаю архивариус-летописец), но на первой же сотне сбился и обратился за разъяснениями к денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе видимо-невидимо.

Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Аленка с Митькой воротились после экзекуции домой, то шатались словно пьяные.

Однако Аленка и на этот раз не унялась, или, как выражается летописец, «от бригадировых шелепов<sup>[60]</sup> пользы для себя не вкусила». Напротив того, она как будто пуще остервенилась, что и доказала через неделю, когда бригадир опять пришел в кабак и опять поманил Аленку.

– Что, дурья порода, надумалась? – спросил он ее.

– Ишь тебя, старого пса, ущемило! Или мало на стыдобушку мою насмотрелся! – огрызнулась Аленка.

– Ладно! – сказал бригадир.

Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. Воротившись после этого разговора домой, она некоторое время ни за какое дело взяться не могла, словно места себе не находила; потом подвалилась к Митьке и горько-горько заплакала.

– Видно, как-никак, а быть мне у бригадира в полюбовницах! – говорила она, обливаясь слезами.

– Только ты это сделай! Да я тебя... и черепки-то твои поганые по ветру пушу! – задыхался Митька и в ярости полез уж было за вожжами на полати, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.

Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует.

Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная, бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе сарафан и безобразно кричала:

– На, пес! жри! жри! жри!

К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но, напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила; кричать – не кричала, а только потихоньку всхлипывала. Тогда бригадир приказал принести свой новый мундир, надел его и во всей красе показался Аленке. В это же время выбежала в дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку усовещивать.

– Ну, чего ты, паскуда, жалеешь, подумай-ко! – говорила льстивая старуха, – ведь тебя бригадир-то в медовой сыте купать станет.

– Митьку жалко! – отвечала Аленка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче.

В ту же ночь в бригадирском доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Естественно, возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать

с пристрастием, но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отпирался.

– Ничего я этого не знаю, – говорил он, – знаю только, что ты, старый пес, у меня жену уводом увел, и я тебе это, старому псу, прощаю... жри!

Тем не менее Митькиным словам не поверили, и так как казус<sup>[61]</sup> был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и, по наложению клейм, отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал; Аленка потихоньку всхлипывала.

Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.

Все изменилось с этих пор в Глупове. Бригадир, в полном мундире, каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала походя тащить, и вдруг ни с того ни с сего стала требовать, чтоб ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь.

Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною к глуповцам. «Новая сия Иезавель<sup>[62]</sup>, – говорит об Аленке летописец, – навела на наш город сухость». С самого вешнего Никола, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось и целым ливнем зноя обдавало все живущее; в воздухе замечалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно; травы и всходы огородных овощей поблекли; рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян; яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами; одни горшечники радовались вёдру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а варева нет.

Однако глуповцы не отчаивались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие, по легкомыслию, пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтоб людей, имеющих «унылый вид», забирали на съезжую и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, «но хлеба через то людишкам не предоставили». Тогда бригадир призвал к себе «излюбленных» и велел им ободрять народ. Стали «излюбленные» ходить по соседям и ни одного унывающего не пропустили, чтоб не утешить.

– Мы люди привышные! – говорили одни, – мы претерпеть мógим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить – мы и тогда противного слова не молвим!

– Это что говорить! – прибавляли другие, – нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!

– Ты думаешь как? – ободряли третьи, – ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!

Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы<sup>[63]</sup> кормить будет нечем; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.

– Так как же, господин бригадир, насчет хлебца-то? похлопочешь? – спрашивали они его.

– Хлопочу, братики, хлопочу! – отвечал бригадир.

– То-то; уж ты постарайся!

В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было, приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость; мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было; пробовали, не будет ли лучше с толченой сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились.

– Хоть и точно, что от этой пищи словно кабы живот наедается, однако, братцы, надо так сказать: самая эта еда пустая! – говорили промеж себя глуповцы.

Базары опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдел. «Кои померли, – говорит летописец, – кои, обеспамятев, разбежались кто куда». А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдедамовый<sup>[64]</sup> платок. Сведавши об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадиров двор.

– А ведь это поди ты не ладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь! – говорили они ему, – да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтоб мы, сироты, за твою дурость напасти терпели!

– Потерпите, братики! Всего вдоволь будет! – вертелся бригадир.

– То-то! мы терпеть согласны! Мы люди привышные! А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровён час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не мало найдется! Как бы чего не случилось!

Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавши историю об Ахаве и Иезавели.

– И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого! – заключил батюшка свой рассказ.

– Очнись, батя! уж ли ж Аленку собакам отдать! – испугался бригадир.

– Не к тому о сем говорю! – объяснился батюшка, – однако и о нижеследующем не излишне размыслить: паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая... где пастырю-то взять, господин бригадир?

– Ох! за грехи меня, старого, бог попутал! – простонал бригадир и горько заплакал.

И вот сел он опять за свое писанье; писал много, писал всюду.

Рапортовал так: коли хлеба не имеется, так по крайности пускай хоть команда прибудет. Но ни на какое свое писание ни из какого места ответа не удостоился.

А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее.

– Что? получил, бригадир, ответ? – спрашивали они его с неслыханной наглостью.

– Не получил, братики! – отвечал бригадир.

Глуповцы смотрели ему «нелепым обычаем» в глаза и покачивали головами.

– Гунявый ты! вот что! – укоряли они его, – оттого тебе, гаденку, и не отписывают! Не стоишь!

Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.

– Да, убеждениями с этим народом ничего не поделаешь! – рассуждал бригадир, – тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб, либо... команда!

Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием; но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего.

Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?

Рассыпьте, молодцы!

За камни, за кусты!

По два в ряд!

– Нет! не слышать!

– Словно и бог-то наш край позабыл! – молвит бригадир.

А глуповцы между тем всё жили, всё жили.

Молодые все до одного разбежались. «Бежали-бежали, – говорит летописец, – многие, ни до чего не добежав, венец приняли<sup>[65]</sup>; многих изловили и заключили в узы; сии почитали себя благополучными». Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтоб бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами,

трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе; стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще чума, и для предотвращения зла, сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на десять кроватей, нащипали корпии и послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, не назвал его «гунявым», «гаденком» и проч.

К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вкоренившемся исстари крамольническому обычаю, собрались они около колокольни, стали судить да рядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока – самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир и Евсеич друг другу в ноги: первый просил послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал:

– Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишь!

Тогда и Евсеич не вытерпел.

– Много годов я выжил! – воскликнул он, внезапно воспламенившись. – Много начальников видел! Жив есмь!

И, сказавши это, заплакал. «Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить», – прибавляет летописец. И сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.

– Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом, сироты, помираем? – так начал он свое первое искушение.

– Ведомо, – отвечивал бригадир.

– И то ведомо ли тебе, от чьего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?

– Нет, не ведомо.

Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоился», – говорит летописец.

Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, «но уже прежний твердый вид утерял».

– С правдой мне жить везде хорошо! – сказал он, – ежели мое дело справедливое, так ссылай ты меня хоть на край света, – мне и там с правдой будет хорошо!

– Это точно, что с правдой жить хорошо, – отвечал бригадир, – только вот я какое слово тебе молвлю: лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликасть!

– Нет! мне с правдой дома сидеть не приходится! потому она, правда-матушка, непоседлива! Ты глядишь: как бы в избу да на полати влезти, а она, правда-матушка, из избы вон гонит... вот что!

– Что ж! по мне пожалуй! Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон!

И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне и вновь отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя Евсеича о правде безнуждно беседующего, убоился его против прежнего не гораздо», – прибавляет летописец. Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.

Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз и сказал:

– А ведомо ли тебе, старому псу...

Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир, в свою очередь, гаркнул:

– Одеть дурака в кандалы!

Надели на Евсеича арестантский убор и, «подобно невесте, навстречу жениха грядущей», повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжую. По мере того как кортеж приближался, толпы плуповцев расступались и давали дорогу.

– Небось, Евсеич, небось! – раздавалось кругом, – с правдой тебе везде будет жить хорошо!

Он же кланялся на все стороны и говорил:

– Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал... все простите!

– Бог простит! – слышалось в ответ.

– И ежели перед начальством согрубил... и ежели в зачинщиках был... и в том, Христа ради, простите!

– Бог простит!

С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только «старатели» русской земли. Однако строгость бригадира все-таки оказала лишь



временное действие. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было («нет этой нужды горше!» – говорит летописец), то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Смотрел бригадир с своего крылечка на это глуповское «бунтовское неистовство» и думал: «Вот бы теперь горошком – раз-раз-раз – и се не бе!!»<sup>[66]</sup> Но глуповцам приходилось не до бунтовства; собрались они, начали тихим манером сговариваться, как бы им «о себе промыслить», но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме того, что опять выбрали ходока.

Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник. Он понял так, что теперь самое верное средство – это начать во все места просьбы писать.

– Знаю я одного человечка, – обратился он к глуповцам, – не к нему ли нам наперед поклониться сходить?

Услышав эту речь, большинство обрадовалось. Как ни велика была «нужа», но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех «стараться». Что без «старанья» не обойдешься – это одинаково сознавалось всеми; но всякому казалось не в пример удобнее, чтоб за него «старался» кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтоб исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти: направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.

– Стойте, атаманы-молодцы! – сказали они, – как бы нас за этого человека бригадир не взбондировал!<sup>[67]</sup> Лучше спросим наперед, каков таков человек?

– А таков этот человек, что все ходы и выходы знает! Одно слово, прожженный! – успокоил Пахомыч.

Оказалось на поверку, что «человечек» – не кто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы «за трясение правой руки», каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на «болоте» в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая за свое легкомыслие пользовалась прозвищем «kozy» и «опчественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левою. Никаких других сведений об

«человечке» не имелось, да, по-видимому, и не ощущалось в них надобности, потому что большинство уже заранее было предрасположено к безусловному доверию.

Тем не менее вопрос «охранительных людей» все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол. Явились так называемые «отпадшие», то есть такие прозорливцы, которых задача состояла в том, чтобы оградить свои спины от потрясений, ожидающихся в будущем. «Отпадшие» пришли на бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать.

Несмотря, однако, на раскол, дело, затеянное глуповцами на «болоте», шло своим чередом.

На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Но это было раздумье мгновенное. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукою в правую и начал строчить:

### **«ВО ВСЕ МЕСТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ**

*Просят пренесчастнейшего города Глунова всенижайшие и всебедствующие всех сословий, чины и людишки, а о чем, тому следуют пункты:*

1) Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц: мрем мы все, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи мало поспешное. И еще доводим: которая у того бригадира, Фердыщенко, ямская жена Аленка, то от нее беспрерменно всем нашим бедам источник приключился, а более того причины не видим. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки-ямщика, то было в нашем городе смирно и жили мы всем изобильно. Хотя же и дальше терпеть согласны, однако опасаемся: ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумнение не ввел.

2) Более сего пунктов не имеется.

*К сему прошению, вместо людишек города Глупова, за неграмотностью их, поставлено двести и тринадцать крестов».*

Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.

– Ишь поплелась! – говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль, – теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам недолго!

И действительно, в городе вновь сделалось тихо; глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали: как дела? – то отвечали:

– Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!

Но проходил месяц, проходил другой – резолюции не было. А глуповцы всё жили и все что-то жевали. Надежды росли и с каждым новым днем приобретали всё больше и больше вероятия. Даже «отпадшие» начали убеждаться в неуместности своих опасений и крепко приставали, чтоб их записывали в зачинщики. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. Обманутый наружным спокойствием обывателей, он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего; с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустит в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит. Потом опять опустит, опять вытащит и опять засадит. И в то же время все пишет, все пишет. Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников. Бригадир роскошествовал, но глуповцы не только не устрашались, но, смеясь, говорили промеж себя: «Каку таку новую игру старый пес затеял?»

– Пстой! – рассуждали они, – вот придет ужо бумага!

Но бумага не приходила, а бригадир плел да плел свою сеть и доплел до того, что помаленьку опутал ею весь город. Нет ничего опаснее, как корни и нити, когда примутся за них вплотную. С

помощью двух инвалидов бригадир перепутал и перетаскал на съезжую почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников.

– Этак он, братцы, всех нас завинит! – догадывались глуповцы, и этого опасения было достаточно, чтобы подлить масла в потухавший огонь.

Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей сто пятьдесят «крестов» очутились на площади («отпадшие» вновь благоразумно скрылись) и, дойдя до градоначальнического дома, остановились.

– Аленку! – гудела толпа.

Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, когда бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа; застала бледную, трепещущую всем телом, почти безумную.

– Пожалейте, атаманы-молодцы, мое тело белое! – говорила Аленка ослабевшим от ужаса голосом, – ведомо вам самим, что он меня силком от мужа увел!

Но толпа ничего уж не слышала.

– Сказывай, ведьма! – гудела она, – через какое твое колдовство на наш город сухость нашла?

Аленка словно обеспамятела. Она металась и, как бы уверенная в неизбежном исходе своего дела, только повторяла: «Тошно мне! ох, батюшки, тошно мне!»

Тогда свершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более пятнадцати саженей...

«И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновение ока разнесли ее приبلудные голодные псы».

И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли.

– Хлеб идет! – вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости.

– Ту-ру! ту-ру! – явственно раздалось из внутренностей пыльного облака...

В колонну  
Соберись бегом!  
Трезвону  
Зададим штыком!  
Скорей! скорей! скорей!

## Соломенный город

Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира: прельстила его окаянная стрелчиха Домашка.

Стрельцы в то время хотя уж не были настоящими, допетровскими стрельцами, однако кой-что еще помнили. Угрюмые и отчасти саркастические нравы с трудом уступали усилиям начальственной цивилизации, как ни старалась последняя внушить, что галдение и крамолы ни в каком случае не могут быть терпимы в качестве «постоянных занятий». Жили стрельцы в особенной пригородной слободе, названной по их имени Стрелецкою, а на противоположном конце города расположилась слобода Пушкарская, в которой обитали опальные петровские пушкари и их потомки. Общая опала, однако ж, не соединила этих людей, и обе слободы постоянно враждовали друг с другом. Казалось, между ними существовали какие-то старые счеты, которых они не могли забыть и которые каждая сторона формулировала так: «Кабы не ваше (взаимно) тогда воровство, гуляли бы мы и о сю пору по матушке-Москве». В особенности выступали наружу эти счеты при косьбе лугов. Каждая слобода имела в своем владении особенные луга, но границы этих лугов были определены так: «В урочище, «где Пётру Долгого секли» – клин, да в дву потому ж». И стрельцы и пушкари аккуратнo каждый год около петровок выходили на место; сначала, как и путные, искали какого-то оврага, какой-то речки да еще кривой березы, которая в свое время составляла довольно ясный межевой признак, но лет тридцать тому назад была срублена; потом, ничего не сыскав, заводили речь об «воровстве» и кончали тем, что помаленьку пускали в ход косы. Побоища происходили очень серьезные, но глуповцы до того пригляделись к этому явлению, что нимало даже не формализовались им. Впоследствии, однако ж, начальство обеспокоилось и приказало косы отобрать. Тогда не стало чем косить траву и животы помирали от бескормицы. «И не было ни стрельцам, ни пушкарям прибыли ни малыя, а только землемерам злорадство великое», – прибавляет по этому случаю летописец.

На одно из таких побоищ явился сам Фердыщенко с пожарной трубой и бочкой воды. Сначала он распорядился довольно деятельно и даже пустил в дерущихся порядочную струю воды; но когда увидел Домашку, действовавшую в одной рубахе впереди всех с вилами в руках, то «злопыхательное» сердце его до такой степени воспламенилось, что он мгновенно забыл и о силе данной им присяги, и о цели своего прибытия. Вместо того чтоб постепенно усиливать обливательную тактику, он преспокойно уселся на кочку и, покуривая из трубочки, завел с землемерами пикантный разговор. Таким образом, пожирая Домашку глазами, он просидел до вечера, когда сгустившиеся сумерки сами собой принудили сражающихся разойтись по домам.

Стрельчиха Домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Насколько последняя была плавна и женственна во всех движениях, настолько же первая – резка, решительна и мужественна. Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, походя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтоб украсить речь каким-нибудь непристойным движением. С утра до вечера звенел по слободе ее голос, клянувший и сулящий всякие нелегкие, и умолкал только тогда, когда зелено вино угомоняло ее до потери сознания. Стрельцы из молодых гонялись за нею без памяти, однако ж не враждовали из-за нее промеж собой, а все вообще называли «сахарницей» и «проезжим шляхом». Пушкари ее боялись, но втайне тоже вождели. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: а ну, посмотрим, покоришь ли ты меня? – и всякому, конечно, делалось лестным доказать этой «прорве», что «покорить» ее можно. Об одеждах своих она не заботилась, как будто инстинктивно чувствовала, что сила ее не в цветных сарафанах, а в той неистощимой струе молодого бесстыжества, которое неудержимо прорывалось во всяком ее движении. Был у нее, по слухам, и муж, но так как она дома ночевала редко, а все по клевушкам да по овинам, да и детей у нее не было, то в скором времени об этом муже совсем забыли, словно так и явилась она на свет божий прямо бабой мирскою да бабой неродихою.

Но это-то, собственно, то есть совсем наглое забвение всяких околичностей, и привлекло «злопыхательное» сердце привередливого старца. Сладостная, тающая бесстыжесть Аленки позабылась;

потребовалось возбуждение более острое, более способное действовать на засыпающие чувства старика. «Испытали мы бабу сладкую, – сказал он себе, – теперь станем испытывать бабу строптивую». И, сказавши это, командировал в Стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльного книгой. Урядник застал Домашку вполпьяна, за огородами, около амбарушки, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как, в сущности, ей было все равно, «кто ни поп – тот батька», то после минутного колебания она начала приподниматься, чтоб последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата и отняли у урядника бабу.

– Больно лаком стал! – кричали они, – давно ли Аленку у Митьки со двора свел, а теперь поди-кось уж у опчества бабу отнять вздумал!

Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься; но его словно бес обуял. Как ужаленный бегал он по городу и кричал криком. Не пошли ему впрок ни уроки прошлого, ни упреки собственной совести, явственно предупреждавшей распалившегося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грехи, а все тем же ни в чем не повинным глуповцам. Как ни отбивались стрельчата, как ни отговаривалась сама Домашка, что она «против опчества идти не смеет», но сила, по обыкновению, взяла верх. Два раза стегал бригадир заупрямившуюся бабенку, два раза она довольно стойко вытерпела незаслуженное наказание, но когда принялись в третий раз, то не выдержала...

Тогда выступили вперед пушкари и стали донимать стрельцов насмешками за то, что не сумели свою бабу от бригадировых шелепов отстоять. «Глупые были пушкари, – поясняет летописец, – того не могли понять, что, посмеиваясь над стрельцами, сами над собой посмеиваются». Но стрельцам было не до того, чтобы объяснять действия пушкарей глупостью или иною причиной. Как люди, чувствующие кровную обиду и не могущие отомстить прямому ее виновнику, они срывали свою обиду на тех, которые напоминали им об ней. Начались драки, бесчинства и увечья; ходили друг против дружки и в одиночку и стена на стену, и всего больше страдал от этой ненависти город, который очутился как раз посередке между враждующими лагерями. Но бригадир уже ничего не слышал и ни на что не обращал внимания. Он забрался с Домашкой на вышку



градоначальнического дома и первый день своего торжества ознаменовал тем, что мертвецки напился пьян с новой жертвой своего сластолюбия...

И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город...

Пожар начался 7-го июля, накануне праздника Казанской Божией матери.

До первых чисел июля все шло самым лучшим образом. Перепадали дожди, и притом такие тихие, теплые и благовременные, что все растущее с невероятной быстротой поднималось в росте, наливалось и зрело, словно волшебством двинутое из недр земли. Но потом началась жара и сухмень, что также было весьма благоприятно, потому что наступала рабочая пора. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай и спешили с работами.

6-го числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал середь торга и начал раздувать по ветру своей пестрядинной рубашкой.

– Горю! горю! – кричал блаженный.

Старики, гуторившие кругом, примолкли, собрались около блаженненького и спросили:

– Где, батюшко?

Но прозорливец бормотал что-то нескладное:

– Стрела бежит, огнем палит, смрадом-дымом душит. Увидите меч огненный, услышите голос архангельский... горю!

Больше ничего от него не могли добиться, потому что, выговоривши свою нескладицу, юродивый тотчас же скрылся (точно сквозь землю пропал!), а задержать блаженного никто не посмел. Тем не меньше старики задумались.

– Про «стрелу» помянул! – говорили они, покачивая головами на Стрелецкую слободу.

Но этим дело не ограничилось. Не прошло часа, как на той же площади появилась юродивая Анисьюшка. Она несла в руках крошечный узелок и, севши посередь базара, начала ковырять пальцем ямку. И ее обступили старики.

– Что ты, Анисьюшка, делаешь? на что ямку копаешь? – спрашивали они.

– Добро хороню! – отвечала блаженная, оглядывая вопрошавших с бессмысленною улыбкой, которая с самого дня рождения словно

застыла у ней на лице.

– По́што же ты хоронишь его? чай, и так от тебя, божьей старушки, никто не покорыствуется?

Но блаженная бормотала:

– Добро хороню... восемь ленточек... восемь тряпочек... восемь платочков шелковых... восемь золотых запоночков... восемь сережек яхонтовеньких... восемь перстеньков изумрудных... восьмеро бус янтарных... восьмеро ниток бурмицких... девятая лента алая... хи-хи! – засмеялась она своим тихим, младенческим смехом.

– Господи! что такое будет! – шептали испуганные старики.

Обернулись, ан бригадир, весь пьяный, смотрит на них из окна и лыка не вяжет, а Домашка Стрельчиха угольком фигуры у него на лице рисует.

– Вот-то пса несытого нелегкая принесла! – чуть-чуть было не сказали глуповцы, но бригадир словно понял их мысль и не своим голосом закричал:

– Опять за бунты принялись! не прочухались!

С тяжелою думой разбрелись глуповцы по своим домам, и не было слышно в тот день на улицах ни смеху, ни песен, ни говору.

На другой день, с утра, погода чуть-чуть закуражилась; но так как работа была спешная (зачиналось жнитво), то все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. Оттого ли, что дело было перед праздником, или оттого, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до пяти часов, когда народ начал расходиться по домам, чтоб принарядиться и отправиться ко всенощной. В исходе седьмого в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. Не успели отзвонить третий звон, как небо заволокло сплошь и раздался такой оглушительный раскат грома, что все молящиеся вздрогнули; за первым ударом последовал второй, третий; затем послышался где-то, не очень близко, набат. Народ разом схлынул из всех церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела

Пушкарская слобода, и от нее, навстречу толпе, неслась целая стена песку и пыли.

Хотя был всего девятый час в начале, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделалось совершенно темно. Сверху черная, безграничная бездна, прорезываемая молниями; кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли, – все это представляло неизобразимый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Видно было, как вдали копошатся люди, и казалось, что они бессознательно толкуются на одном месте, а не мечутся в тоске и отчаянье. Видно было, как кружатся в воздухе оторванные вихрем от крыш клочки зажженной соломы, и казалось, что перед глазами совершается какое-то фантастическое зрелище, а не горчайшее из злодеяний, которыми так обильны бессознательные силы природы. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. В одном месте пожар уже в полном разгаре; все строение обнял огонь, и с каждой минутой размеры его уменьшаются, и силуэт принимает какие-то узорчатые формы, которые вытачивает и выгрызает страшная стихия. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык; потом язык опять исчез, опять вынырнул – и взял силу. Новая точка, еще точка... сперва черная, потом ярко-оранжевая; образуется целая связь светящихся точек и затем – настоящее море, в котором утопают все отдельные подробности, которое крутится в берегах своею собственною силою, которое издает свой собственный треск, гул и свист. Не скажешь, что тут горит, что плачет, что страдает; тут все горит, все плачет, все страдает... Даже стонов отдельных не слышно.

Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого; все заветное, пригретое, приголубленное, все, что помогало примириться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда отчетливо не представлялась уму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть и возражений. При первом столкновении с этой

действительностью человек не может вытерпеть боли, которою она поражает его; он стонет, стирает руки, жалуется, клянет, но в то же время еще надеется, что злодейство, быть может, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают, и одна только жажда водворяется в сердце его – это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что оно насквозь засветилось, что из всех пазов выпалзывают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что вот это и есть тот самый *конец всего*, о котором ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого, незаметно для него самого, проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем.

– Все ли вы тут? – раздается в толпе женский голос, – один, другой... Николка-то где?

– Я, мамонька, здесь, – отвечал боязливый лепет ребенка, притаившегося сзади около сарафана матери.

– Где Матренка? – слышится в другом месте, – ведь Матренка-то в избе осталась!

На этот призыв выходит из толпы парень и с разбега бросается в пламя. Проходит одна томительная минута, другая. Обрушиваются балки одна за другой, трещит потолок. Наконец парень показывается среди облаков дыма; шапка и полушубок на нем затлелись, в руках ничего нет. Слышится вопль: «Матренка! Матренка! где ты?» – потом следуют утешения, сопровождаемые предположениями, что, вероятно, Матренка с испуга убежала на огород...

Вдруг, в стороне, из глубины пустого сарая раздается нечеловеческий вопль, заставляющий даже эту совсем обеспамятевшую толпу перекреститься и вскрикнуть: «Спаси, Господи!» Весь или почти весь народ устремляется по направлению этого крика. Сарай только что загорелся, но подступиться к нему уже нет возможности. Огонь охватил плетеные стены, обвил каждую отдельную хворостинку и в одну минуту сделал из темной, дымившейся массы рдеющий ярко-прозрачный костер. Видно было, как внутри метался и бегал человек, как он рвал на себе рубашку,

царапал ногтями грудь, как он вдруг останавливался и весь вытягивался, словно вдыхал. Видно было, как брызгали на него искры, словно обливали, как занялись на нем волосы, как он сначала тушил их, потом вдруг закружился на одном месте...

– Батюшки! да ведь это Архипушко! – разглядели люди.

Действительно, это был он. Среди рдеющего кругом хвороста темная, полудикая фигура его казалась просветлевшею. Людям виделся не тот нечистоплотный, блуждающий мутными глазами Архипушко, каким его обыкновенно видали, не Архипушко, преданный предсмертным корчам и, подобно всякому другому смертному, бессильно борющийся против неизбежной гибели, а словно какой-то энтузиаст, изнемогающий под бременем переполнившего его восторга.

– Отворь ворота, Архипушко! отворь, батюшко! – кричали издали люди, жалеючи.

Но Архипушко не слышал и продолжал кружиться и кричать. Очевидно было, что у него уже начинало занимать дыхание. Наконец столбы, поддерживавшие соломенную крышу, подгорели. Целое облако пламени и дыма разом рухнуло на землю, прикрыло человека и закрутилось. Рдеющая точка на время опять превратилась в темную; все инстинктивно перекрестились...

Не успели пушкари опамятоваться от этого зрелища, как их ужаснуло новое; загудели на соборной колокольне колокола, и вдруг самый большой из них грохнулся вниз. Бросились и туда, но тут увидели, что вся слобода уже в пламени, и начали помышлять о собственном спасении. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретила с общим смятением. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, что могло взять, но горожанам, наблюдавшим за пожаром по ту сторону речки, казалось, что пожар все рос и зарево больше и больше рдело. Весь воздух был наполнен какою-то светящеюся массою, в которой отдельными точками кружились и вихрились головни и горящие пуки соломы: «Куда-то они полетят? На ком обрушатся?» – спрашивали себя оцепенелые горожане.

Этот вопрос произвел всеобщую панику; всяк бросился к своему двору спасать имущество. Улицы запрудились возами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Торопливо, но

без особенного шума двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. В эту минуту полил долго желанный дождь и растворил на выгоне легко уступающий чернозем.

Между тем пушкари остановились на городской площади и решились дожидаться тут до свету. Многие присели на землю и дали волю слезам. Какой-то начетчик запел *на реках вавилонских*<sup>[68]</sup> и, заплакав, не мог кончить; кто-то произнес имя стрельчихи Домашки, но отклика ниоткуда не последовало. О бригадире все словно позабыли, хотя некоторые и уверяли, что видели, как он слонялся с единственной пожарной трубой и порывался отстоять попов дом. Поп был тут же, вместе со всеми, и роптал.

– Беззаконновахом! – говорил он.

– Ты бы, батька, побольше богу молился да поменьше с попадьей проклажался! – в упор последовал ответ, и затем разговор по этому предмету больше не возобновлялся.

К свету пожар действительно стал утихать, отчасти потому, что гореть было нечему, отчасти потому, что пошел проливной дождь. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Достали откуда-то крючьев, привезли из города трубу и начали не торопясь растаскивать уцелевший материал и тушить остатки огня. Всякий рылся около своего дома и чего-то искал; многие в самом деле доискивались и крестились. Сгоревших людей оказалось с десятков, в том числе двое взрослых; Матренку же, о которой накануне был разговор, нашли спящею на огороде между гряд. Мало-помалу день принял свой обычный рабочий вид. Убытки редко кем высчитывались, всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. У кого осталось нетронутым подполье, и по этому поводу выражалась радость, что уцелел квас и вчерашний каравай хлеба; у кого каким-то чудом пожар обошел клевушок, в котором была заперта буренушка.

– Ай да буренушка! умница! – хвалили кругом.

Начал и город понемногу возвращаться в свои логовища из вынужденного лагеря; но ненадолго. Около полдня у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Загорелся сарай той самой Козы, у которой в предыдущем рассказе летописец познакомил нас с

приказным Боголеповым. Полагают, что Боголепов в пьяном виде курил трубку и заронил искру в сенную труху, но так как он сам при этом случае сгорел, то догадка эта настоящим образом в известность не приведена. В сущности, пожар был не весьма значителен и мог бы быть остановлен довольно легко, но граждане до того были измучены и потрясены происшествиями вчерашней бессонной ночи, что достаточно было слова: «пожар!», чтоб произвести между ними новую общую панику. Все опять бросились к домам, тащили оттуда, кто что мог, и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался.

Не станем описывать дальнейших перипетий этого бедствия, тем более что они вполне схожи с теми, которые уже приведены нами выше. Скажем только, что два дня горел город, и в это время без остатка сгорели две слободы: Болотная и Негодница, названная так потому, что там жили солдатки, промышлявшие зазорным ремеслом. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Подстрекаемые крамольными стрельцами, они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенко.

– Долго ли нам гореть будет? – спросили они его, когда он после некоторых колебаний появился на крыльце.

Но лукавый бригадир только вертел хвостом и говорил, что ему с богом спорить не приходится.

– Мы не про то говорим, чтоб тебе с богом спорить, – настаивали глуповцы, – куда тебе, гунявому, набога лезти! а ты вот что скажи: за чьи бесчинства мы, сироты, теперича помирать должны?

Тогда бригадир вдруг засовестился. Загорелось сердце его стыдом великим, и стоял он перед глуповцами и точил слезы. («И все те его слезы были крокодиловы», – предваряет летописец события.)

– Мало ты нас в прошлом году истязал? Мало нас от твоей глупости да от твоих шелепов смерть приняло? – продолжали глуповцы, видя, что бригадир винится. – Одумайся, старче! Оставь свою дурость!

Тогда бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. («И было то покаяние его аспидово»<sup>[69]</sup>, – опять предваряет события летописец.)

– Простите меня, ради Христа, атаман-молодцы! – говорил он, кланяясь миру в ноги, – оставляю я мою дурость на веки вечные, и сам вам тоё мою дурость с рук на руки сдам! только не наругайтесь вы над нею, ради Христа, а проводите честь честью к стрельцам в слободу!

И, сказав это, вывел Домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними, та же немытая, нечесаная, как прежде была; стояла, и хмельная улыбка бродила по лицу ее. И стала им эта Домашка так любя, так любя, что и сказать невозможно.

– Здорово живешь, Домаха! – гаркнули в один голос граждане.

– Здравствуйте! Ослобонять пришли? – отвечала Домашка.

– Охотой идешь в опчество?

– Со всем моим великим удовольствием!

Тогда Домашку взяли под руки и привели к тому самому анбару, откуда она была, за несколько времени перед тем, уведена силою.

Стрельцы радовались, бегали по улицам, били в тазы и в сковороды и выкрикивали свой обычный воинственный клич:

– Посрамихом! посрамихом!

И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье великое. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец и что отныне ничего другого не остается, как благоденствовать. С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны города глубокою канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания.

Но летописец недаром предварял события намеками: слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидово. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места. Десять часов сряду макал он перо в чернильницу, и чем дальше макал, тем больше становилось оно ядовитым.

«Сего 10-го июля, – писал он, – от всех вообще глуповских граждан последовал против меня великий бунт. По случаю бывшего в слободе Негоднице великого пожара собрались ко мне, бригадиру, на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от сего уклонился. И теперь рассуждаю так: ежели таковому их



бездельничеству потворство сделать, да и впредь потрафлять, то как бы оно не явилось повторительным и не гораздо к утишению способным?»

Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда: «ту-ру! ту-ру!» Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.

– Миленькие вы, миленькие! – говорил он им, – ну, чего вы, глупенькие, на меня рассердились! Ну, взял бог – ну, и опять даст бог! У него, у царя небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!

По временам, однако ж, на лице его показывалась какая-то сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего доброго...

И вот в одно прекрасное утро по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло наконец к самому Глупову.

– Ту-ру! ту-ру! – явственно раздалось из внутренностей таинственного облака.

Трубят в рога!  
Разить врага  
Пришла пора!

Глуповцы оцепенели.

## Фантастический путешественник

Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирова легкомыслие чуть-чуть не навлекло на них новой беды.

Фердыщенко вздумал путешествовать.

Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли. «Куда и с какой целью тут путешествовать?» Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не могли. Даже бригадирова экономка – и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении.

– Ну, куда тебя слоняться несет? – говорила она, – на первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!

Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон. «Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения», – бормотал он про себя и лелеял свой план пуще зеницы ока. «Прост он был, – поясняет летописец, – так прост, что даже после стольких бедствий простоты своей не оставил».

Очевидно, он копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов (по краткой описи градоначальникам, Фердыщенко обозначен так: «бывший денщик князя Потемкина») и любил, чтоб его везде чествовали.

План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона; потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец; потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары.

– Вот смотрите! – говорил он обывателям, – как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом зачинайте поздравлять, как будто я и невесть откуда приехал!

– Слушаем, батюшка Петр Петрович! – говорили проученные гуповцы; но про себя думали: «Господи! того гляди, опять город спалит!»

Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как ни медлили, а через полчаса успели. Ожидавшие тут гуповцы, в числе четырех человек, ударили в тазы, а один потрясал бубном. Потом начали подносить дары: подали тёшку осетровую соленую, да севрюжку провесную среднюю, да кусок ветчины. Вышел бригадир из брички и стал спорить, что даров мало, «да и дары те не настоящие, а лежалые» и служат к умалению его чести. Тогда вынули гуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.

– Ну, теперь показывайте мне, старички, – сказал он ласково, – каковы у вас есть достопримечательности?

Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.

– Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было! – объяснил один из стариков.

– Хорошо бы здесь город поставить, – молвил бригадир, – и назвать его Домнославом, в честь той стрельчихи, которую вы занапрасно в то время обеспокоили!

И потом прибавил:

– Ну, а в недрах земли как?

– Об этом мы неизвестны, – отвечали гуповцы, – думаем, что много всего должно быть, однако допытываться боимся: как бы кто не увидал да начальству не пересказал!

– Боитесь? – усмехнулся бригадир.

Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много (отбытие с этого пункта было назначено только на другой день), и зачал тужить и корить гуповцев, что нет у них ни мореходства, ни судоходства, ни горного и монетного промыслов, ни путей сообщения, ни даже статистики – ничего, чем бы начальниково сердце возвеселить. А главное, нет предприимчивости.

– Вам бы следовало корабли заводить, кофей-сахар разводить, – сказал он, – а вы что!

Переглянулись между собою старики, видят, что бригадир как будто и к слову, а как будто и не к слову свою речь говорит, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.

– На этом спасибо, – молвил бригадир, – а что про мореходство сказало, на том простите!

Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесцах и гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно, сел на лужок и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.

– Ах, прах те побери! Здесь и солнце-то словно назад пятится! – сказал бригадир, с негодованием поглядывая на небесное светило, медленно выплывавшее по направлению к зениту.

Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи Домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на «деревянного дела пушечку», угрожал всех своих амфитрионов<sup>[70]</sup> перепалить. Тогда за хозяев вступился денщик, Василий Черноступ, который хотя тоже был пьян, но не гораздо.

– Пустое ты дело затеял! – сразу оборвал он бригадира, – кабы не я, твой приставник, – слова бы тебе, гунявому, не пикнуть, а не то чтоб за экое орудие взяться!

Время между тем продолжало тянуться с безнадежною вялостью: обедали-обедали, пили-пили, а солнце все высоко стоит. Начали спать. Спали-спали, весь хмель переспали, наконец начали вставать.

– Никак, солнце-то высоко взошло! – сказал бригадир, просыпаясь и принимая запад за восток.

Но ошибка была столь очевидна, что даже он понял ее. Послали одного из стариков в Глупов за квасом, думая ожиданием сократить время; но старик оборотил духом и принес на голове целый жбан, не пролив ни капли. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли площадку и осветили навозную кучу. Плошка коптела, мигала и распространяла смрад.

– Слава богу! не видали, как и день кончился! – сказал бригадир и, завернувшись в шинель, улегся спать во второй раз.

На другой день поехали наперерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха. Стали его спрашивать, кто он таков и зачем по пустым местам шатается, и нет ли в том шатании умысла. Пастух сначала оробел, но потом во всем повинился. Тогда его обыскали и нашли хлеба ломоть небольшой да лоскуток от онуч.

– Сказывай, в чем был твой умысел? – допрашивал бригадир с пристрастием.

Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были, для дальнейших расспросов, взять его с собою и в таком виде приехали в другой угол выгона.

Тут тоже в тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха, и в него, грешным делом, из малой пушечки стреляли. Вечером опять зажгли площадку и начадили так, что у всех разболелись головы.

На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку, но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам, и так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в каре и ожидали своего начальника. Стучали в тазы, потрясали бубнами, и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.

Плакали тут все, плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха (сказывали, что она была внучкой побочной дочери Марфы Посадницы).

– О чем ты, старушка, плачешь? – спросил бригадир, ласково трепля ее по плечу.

– Ох ты, наш батюшка! как нам не плакать-то, кормилец ты наш! век мы свой всё-то плачем... всё плачем! – всхлипывала в ответ старуха.

В полдень поставили столы и стали обедать; но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил три чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевши первую перемену (были щи с солониной), он опять выпил два стакана и начал говорить, что ему нужно бежать.

– Ну куда тебе без ума бежать? – урезонивали его почетные глуповцы, сидевшие по сторонам.

– Куда глаза глядят! – бормотал он, очевидно припоминая эти слова из своего маршрута.

После второй перемены (был поросенок в сметане) ему сделалось дурно; однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустою. После этого ему перекосило рот.

Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдруг замерла... Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест.

Кончилось...

Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли в сих вразумлениях необходимость?» – спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтоб их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира и чтоб опять не раздалось неведомо откуда: «туру-туру!»

Встаньте гуще!  
Чтобы пуще  
Побеждать врага!

К счастью, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенко. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось

такое множество, что даже куры не клевали их... Потому что это были ассигнации.

## Войны за просвещение

Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенко, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какою-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея наготове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, наблюдая, чтобы обыватели имели бодрый и веселый вид; ночью – тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставлял врасплох.

Кричал он во всякое время, и кричал необыкновенно. «Столько вмещал он в себе крику, – говорит по этому поводу летописец, – что от одного многие глуповцы и за себя и за детей навсегда испугались». Свидетельство замечательное и находящее себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать глуповцам разные льготы, именно «испуга их ради». Аппетит имел хороший, но насыщался с поспешностью и при этом роптал. Даже спал только одним глазом, что приводило в немалое смущение его жену, которая, несмотря на двадцатипятилетнее сожителство, не могла без содрогания видеть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. Когда же совсем нечего было делать, то есть не предстояло надобности ни мелькать, ни заставить врасплох (в жизни самых расторопных администраторов встречаются такие тяжкие минуты), то он или издавал законы, или маршировал по кабинету, наблюдая за игрой сапожного носка, или возобновлял в своей памяти военные сигналы.

Была и еще одна особенность за Бородавкиным: он был сочинитель. За десять лет до прибытия в Глухов он начал писать проект «о вящем<sup>[71]</sup> армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение (sic) древней Византии под сень российския державы уповательным учинить», и каждый день



прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составила довольно объемистая тетрадь, заключающая в себе три тысячи шестьсот пятьдесят две строчки (два года было високосных), на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя притом:

– Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю!

Вообще политическая мечтательность была в то время в большом ходу, а потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда, с полными слез глазами, на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич... И Бородавкин ждал этого клича, ждал с страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования.

– Сперва с Византией покончим-с, – мечтал он, – а потом-с...

На Драву, Мораву, на дальнюю Саву,  
На тихий и синий Дунай...

Д-да-с!

Сказать ли всю истину: по секрету, он даже заготовил на имя известного нашего географа, К. И. Арсеньева, довольно странную резолюцию: «Предоставляется вашему благородию, – писал он, – на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии числить тако: Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропонтиду и под сень Российской Державы приобретен в 17... году, с распространением на оный единства касс (единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санкт-Петербурге употребление себе находить должны). По обширности своей город сей, в административном отношении, находится в ведении четырех градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании. Производит торговлю грецкими орехами и имеет один мыловаренный и два кожевенных завода». Но, увы! дни

проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили через Глупов войска пешие, проходили войска конные.

– Куда, голубчики? – с волнением спрашивал Бородавкин солдатиков.

Но солдатики в трубы трубили, песни пели, носками сапогов играли, пыль столбом на улицах поднимали и всё проходили, всё проходили.

– Валом валит солдат! – говорили глуповцы, и казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтоб ходить без конца, ходить по всем направлениям. Что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходят через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем через другой мост. И еще мост, и еще плоская возвышенность, и еще, и еще...

В этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация, или, как он сам определял это слово, «наука о том, колико каждому Российской Империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит».

Полный этих смутных мечтаний, он явился в Глупов и прежде всего подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним: и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и маркиз де Санлот, и Фердыщенко, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали – вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд – не что иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы... Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула: раз-раз! – и исчезла неведомо куда; смотришь, на место ее выступает уж другая тень и тоже хлопает, как попало, и исчезает... «Раззорю!», «Не потерплю!» – слышится со всех сторон, а что разорю, чего не потерплю – того разобрать невозможно. Рад бы посторониться, прижаться к углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что из всякого угла

раздается все то же «раззорю!», которое гонит укрывающегося в другой угол и там, в свою очередь, опять настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только штатский советник Двоекуров с выгодой выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало восемнадцатого столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец.

Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы: Дворянскую и Большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки, какие меры были употреблены Двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле, но так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а быть может, и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами.

– Много у нас всякого шуму было! – рассказывали старожилы, – и через солдат секли, и запросто секли... Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли!

– Стало быть, были бунты? – спрашивал Бородавкин.

– Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут – так уж и знаешь, что бунт!

Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял и расточал без остатка; но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он в течение нескольких лет сряду непрерывно и неустанно делал сепаратные<sup>[72]</sup> набегии на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех

до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые «старики» (должно быть, «из молодых, да ранние»). Каким образом они нарастали – это была тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров и потому розог не жалел. Как истинный администратор он различал два сорта сечения: сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением, и гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, действуя разумно и непрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. «И процвела она вся, яко крин сельный<sup>[73]</sup>, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской и получая взамен оного драгоценные металлы и меха».

Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И, что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве: «Много лет выводил он (Двоекуров) хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь, забывает, что в том-то, собственно, и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, начинать новое здание на том же «песце» воздвигать.

Таким образом оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на «песце» была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, что бы такое выстроить, чтобы оно вдруг, по

выстройке, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.

– Руки у меня связаны, – горько жаловался он глуповцам, – а то узнали бы вы у меня, где раки зимуют!

Тут же, кстати, он доведалься, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.

Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

– Что хошь с нами делай! – говорили одни, – хошь – на куски режь; хошь – с кашей ешь, а мы не согласны!

– С нас, брат, не что возьмешь! – говорили другие, – мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!

И упорно стояли при этом на коленях.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а плотать не плотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а плотать не плотали.

– Сломлю я эту энергию! – говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, – как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут – как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую сторону.

И вдруг затрубила труба и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих...

Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «войн за просвещение».

Первая война «за просвещение» имела, как уже сказано выше, поводом горчицу и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов.

Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился; он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно, и с этой целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще и о горчице, как о подспорье, в особенности; но оттого ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал, – как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени.

«Было чего испугаться глуповцам, – говорит по этому случаю летописец, – стоит перед ними человек роста невеликого, из себя не породный, слов не говорит, а только криком кричит».

– Поняли, старички? – обратился он к обеспамятевшим обывателям.

Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Естественно, это его пуще взорвало.

– Что я... на смерть, что ли, вас веду... ммерррзавцы!

Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей и разбежались во все стороны.

– Раззорю! – закричал он им вдогонку.

Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!»

Более всего заботила его Стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличалась самым непреодолимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит – разыскать невозможно.

Между тем не могло быть сомнения, что в Стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бородавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву *p*, то выйдет 666, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою – оттого-де и пошла в мир «горчица». Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопениям и толкованиям, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали.

Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что непонимание ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной природы своей.

– Руки у меня связаны! – повторял он, задумчиво покусывая темный ус свой, – а то бы я показал вам, где раки зимуют!

Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии<sup>[74]</sup> есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи

под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».

Однако ж покуда устав еще утвержден не был, а следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия («об оных, стыда ради, умалчиваю», – оговаривается летописец), как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.

Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад<sup>[75]</sup>. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное (дело происходило в половине сентября). Солнце играло на касках и ружьях солдат; крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи и из окон каждого дома виднелось веселое пламя.

Хотя главной целью похода была Стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя.

– Слава те, господи! кажется, забыл про горчицу! – говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.

А Бородавкин все маневрировал да маневрировал и около полдён достиг до слободы Негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водки и приказали петь песни, а ввечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома.

На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Делали все это серьезно, не моргнув. Привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стегно<sup>[76]</sup>, свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое Дунькиным врагом. Оттуда же, миновав три поворотки, идти куда глаза глядят.

Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба – ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе



вероломного жида, чтоб повесить, но его уж и след простыл (впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию<sup>[77]</sup> на железную дорогу). Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что Навозная слобода стояла въяве у всех на глазах, а никто ее не видал. Наконец спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: грабят! Закричал какой-то солдатик спяна, а люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими же и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной слободы. Положили: убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день, в который она происходила, почтить наименованием «слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою.

На третий день сделали привал в слободе Навозной; но тут, наученные опытом, уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит; но так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует «по игре», и успокоились.

Но когда Бородавкин после поминовения приказал солдатикам вытоптать прилежавшее к слободе озимое поле, тогда обыватели призадумались.

– Ужли, братцы, всамделе такая игра есть? – говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал.

На четвертый день, ни свет ни заря, отправились к Дунькиному врагу, боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников: скоро ли? Велико было всеобщее изумление, когда вдруг, посреди чистого поля, аманаты<sup>[78]</sup> крикнули: здесь! И было, впрочем, чему изумиться: кругом не было никакого признака поселения; далеко-далеко раскинулось голое место, и только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда

пушкарская девица Дунька, спешившая, в нетрезвом виде, на любовное свидание.

– Где ж слобода? – спрашивал Бородавкин у аманатов.

– Нету здесь слободы! – ответствовали аманаты, – была слобода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!

Но словам этим не поверили и решили: сечь аманатов до тех пор, пока не укажут, где слобода. Но странное дело! Чем больше секли, тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал:

– Я вас!

Положение было неловкое; наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ: всю ночь не спать и дрожать.

На пятый день отправились обратно в Навозную слободу и по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день и только к вечеру, утомленные и проголодавшиеся, достигли слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был не настоящий, то, как ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не могли.

На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили и многих настоящих солдат уволили вчистую и заменили оловянными солдатами. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент, в котором будто бы сказано: «Аманата сечь, а будет который уж высечен, и такого более суток отнюдь не держать, а выпускать домой на излечение». Волею-неволей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект «о нестеснении градоначальников законами» и горько заплакал.

– А это что? – спросил он, указывая на оловянных солдатиков.

– Для легости, ваше благородие! – отвечали ему, – провианту не просит, а маршировку и он исполнять может!

Пришлось согласиться и с этим. Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собою военный совет. Хотелось ему наказать

«навозных» за их наглость, но, с другой стороны, припоминалась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Не лишения страшили его, не тоска о разлуке с милой супругой печалила, а то, что в течение этих десяти лет может быть замечено его отсутствие из Глупова и притом без особенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урок из истории, слышанный в детстве, и сильно его взволновал. «Несмотря на добродушие Менелая, – говорил учитель истории, – никогда спартанцы не были столь счастливы, как во время осады Трои; ибо хотя многие бумаги оставались неподписанными, но зато многие же спины пребыли невыстеганными, и второе лишение с лихвою вознаградило за первое...»

К довершению всего полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия.

– И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов! – с горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуты на минуту лужи, – в полчаса был бы уж там!

В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию, и результатом этого сознания было решение: бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв.

На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе.

Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: в атаку! – передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их, «ради поспешения», черты были нанесены лишь в виде абриса<sup>[79]</sup> и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. А от иронии до крамолы – один шаг.

– Труссы! – процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном.

Пошли в обход, но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона – везде все пашня, да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болота нет, да и полно.

– Нет тут болота! врите вы, подлецы! марш! – скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой.

Полезли люди в трясины и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпачкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию и, увидев, что пушки, до половины погруженные, стоят, обратив жерла к небу и как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть.

– Сколько лет копил, берег, холил! – роптал он, – что я теперь делать буду! как без пушек буду править!

Войско было окончательно деморализовано<sup>[80]</sup>. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев), но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в 3-м акте «Руслана и Людмилы», когда на сцену вбегают испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина...

Только на восьмой день, около полдён, измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: «Иду на вы!» – и, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.

На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость.

– Где жители? – спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами.  
– Сейчас тут были! – шамкал губами поп.  
– Как сейчас? куда же они бежали?  
– Куда бежать? зачем от своих домов бежать? чай, здесь где-нибудь от тебя схоронились!

Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.

– Надо было зимой поход объявить! – раскаивался он в сердце своем, – тогда бы они от меня не спрятались.

– Эй! кто тут! выходи! – крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики – и те дрогнули.

Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которой они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника.

– Где они, бестии, вздыхают? – неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и, видимо, теряя всякую сообразительность, – сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!

Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели, – нет никого! Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову.

«Ежели я теперича их огнем раззорю... нет, лучше голодом поморю!..» – думал он, переходя от одной несообразности к другой.

И вдруг он остановился как пораженный перед оловянными солдатами.

С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в глазах у всех солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.

– Что скажете, служивые? – спросил Бородавкин.

– Избы... избы... ломать! – невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики.

Средство было отыскано.

Начали с крайней избы. С гиком бросились «оловянные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз вязки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвились вверх целые облака пыли.

– Тише! тише! – кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон.

Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца.

– Кто тут? выходи! – опять крикнул Бородавкин во всю мочь.

Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы, – говорит летописец, – что новое сие изобретение (то есть усмирение посредством ломки домов), подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но недолго пришлось им в сей сладкой надежде себя утешать».

– Катай! – произнес Бородавкин твердо.

Раздался треск и грохот; бревна одно за другим отделялись от сруба, и, по мере того как они падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайней избы как не бывало, и «оловянные», ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы после короткого перерыва вновь слышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции: «При усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении», – и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону skulls.

– Принимаете ли горчицу? – внятно спросил он, стараясь по возможности устранить из голоса угрожающие ноты.

Толпа безмолвно поклонилась до земли.

– Принимаете ли, спрашиваю я вас? – повторил он, начиная уже закипать.

– Принимаем! принимаем! – тихо гудела, словно шипела, толпа.

– Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?

Стрельцы позамялись: неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это требование начальства.

– Выходи, Федька! небось! выходи! – раздавалось в толпе.

Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись.

– Так это ты? – захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил, – так это ты?

Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец придумано было наказание, так сказать, смешанное.

– Слушай! – сказал он, слегка поправив Федькину челюсть, – так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять и стихи те ко мне приносить!

С этим словом он приказал дать отбой.

Бунт кончился; невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, влача за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково (выколов, однако, для верности, глаза), а прочих сослать на каторгу.

В тот же вечер, запершись в кабинете, Бородавкин писал в своем журнале следующую отметку:

«Сего 17-го сентября, после трудного, но славного девятидневного похода, совершилось всерадостнейшее и вождеденнейшее событие. Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причем не было произведено в расход ни единой капли крови».

«Кроме той, – иронически прибавляет летописец, – которая была пролита у околицы Навозной слободы и в память которой доднесь празднуется торжество, именуемое свистопляскою...»

Очень может статься, что многое из рассказанного выше покажется читателю чересчур фантастическим. Какая надобность была Бородавкину делать девятидневный поход, когда Стрелецкая слобода была у него под боком и он мог прибыть туда через полчаса? Как мог он заблудиться на городском выгоне, который ему, как градоначальнику, должен быть вполне известен? Возможно ли поверить истории об оловянных солдатах, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью?

Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них нижеследующее: история города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание. Все мы знаем предание о Бабе-ягекостяной-ноге, которая ездила в ступе и погоняла помелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народной фантазией. Но никто не задается вопросом: почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если б исследователи нашей старины обратили на этот предмет должное внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное и что Баба-яга была не кто иное, как градоправительница, или, пожалуй, посадница, которая, для возбуждения в обывателях спасительного страха, именно этим способом путешествовала по вверенному ей краю, причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратившись домой, восклицала: «Покатаюся, поваляюся, Иванушкина мясца поевши».

Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, что летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться странным, что Бородавкин девять дней сряду кружит по выгону; но не должно забывать, во-первых, что ему незачем было торопиться, так



как можно было заранее предсказать, что предприятие его во всяком случае окончится успехом, и, во-вторых, что всякий администратор охотно прибегает к эволюциям, дабы поразить воображение обывателей. Если б можно было представить себе так называемое исправление на теле без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как-то: снятия одежды, увещаний со стороны лица исправляющего и испрошения прощения со стороны лица исправляемого, – что бы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает! Точно то же следует сказать и о всяком походе, предпринимается ли он с целью покорения царств или просто с целью взыскания недоимок. Отнимите от него «эволюции» – что останется?

Нет, конечно, сомнения, что Бородавкин мог избежать многих весьма важных ошибок. Так, например, эпизод, которому летописец присвоил название «слепорода», – из рук вон плох. Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция «убиенных». Кто эти «убиенные»? Правы они или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? – все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки.

Стало быть, остается неочищенным лишь вопрос об оловянных солдатиках; но и его летописец не оставляет без разъяснения. «Очень часто мы замечаем, – говорит он, – что предметы, по-видимому, совершенно неодушевленные (камню подобные), начинают ощущать вожделение, как только приходят в соприкосновение с зрелищами, неодушевленности их доступными». И в пример приводит какого-то ближнего помещика, который, будучи разбит параличом, десять лет лежал недвижим в кресле, но и за всем тем радостно мычал, когда ему приносили оброк...

Всех войн «за просвещение» было четыре. Одна из них описана выше; из остальных трех первая имела целью разъяснить глуповцам пользу от устройства под домами каменных фундаментов; вторая возникла вследствие отказа обывателей разводить персидскую ромашку и третья, наконец, имела поводом разнесшийся слух об учреждении в Глупове академии. Вообще видно, что Бородавкин был

утопист и что если б он пожил подольше, то наверное кончил бы тем, что или был бы сослан за вольномыслие в Сибирь, или выстроил бы в Глупове фаланстер<sup>[81]</sup>.

Подробно описывать этот ряд блестящих подвигов нет никакой надобности, но нелишнее будет указать здесь на общий характер их.

В дальнейших походах со стороны Бородавкина замечается весьма значительный шаг вперед. Он с большею тщательностью prepares материалы для возмущений и с большею быстротою подавляет их. Самый трудный поход, имевший поводом слух о заведении академии, продолжался лишь два дня; остальные – не более нескольких часов. Обыкновенно Бородавкин, напившись утром чаю, кликал клич; сбегались оловянные солдатики, мгновенно наливались кровью и во весь дух бежали до места. К обеду Бородавкин возвращался домой и пел благодарственную песнь. Таким образом он достиг наконец того, что через несколько лет ни один глуповец не мог указать на теле своем места, которое не было бы высечено.

Со стороны обывателей, как и прежде, царствовало полнейшее недоразумение. Из рассказов летописца видно, что они и рады были не бунтовать, но никак не могли устроить это, ибо не знали, в чем заключается бунт. И в самом деле, Бородавкин опутывал их чрезвычайно ловко. Обыкновенно он ничего порядком не разъяснял, а делал известными свои желания посредством прокламаций, которые секретно, по ночам, наклеивались на угловых домах всех улиц. Прокламации писались в духе нынешних объявлений от магазина Кача, причем крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. Сверх того, допускалось употребление латинских названий; так, например, персидская ромашка называлась не персидской ромашкой, а *Rurethrum roseum*, иначе слюногон, слюногонка, жгунец, принадлежит к семейству *Compositas* и т. д. Из этого выходило следующее: грамотеи, которым обыкновенно поручалось чтение прокламаций, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами, а прочие скрадывали. Как, например (см. прокламацию о персидской ромашке):

ИЗВЕСТНО,  
*какое опустошение производят*

*клопы, блохи и т. д.*

**НАКОНЕЦ НАШЛИ!!!**

*Предприимчивые люди вывезли*

*с Дальнего Востока и т. д.*

Из всех этих слов народ понимал только: «известно» и «наконец нашли». И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то народ снимал шапки, вздыхал и крестился. Ясно, что в этом не только не было бунта, а скорее исполнение предначертаний начальства. Народ, доведенный до вздыхания, – какого еще идеала можно требовать!

Стало быть, все дело заключалось в недоразумении, и это оказывается тем достовернее, что глуповцы даже и до сего дня не могут разъяснить значение слова «академия», хотя его-то именно и напечатал Бородавкин крупным шрифтом (см. в полном собрании прокламаций № 1089). Мало того: летописец доказывает, что глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили, и не получили именно по вине самого градоначальника. Они нередко ходили всем обществом на градоначальнический двор и говорили Бородавкину:

– Развяжи ты нас, сделай милость! укажи нам конец!

– Прочь, буяны! – обыкновенно отвечал Бородавкин.

– Какие мы буяны! знать, не видывал ты, какие буяны бывают!

Сделай милость, скажи!

Но Бородавкин молчал. Почему он молчал? потому ли, что считал непонимание глуповцев не более как уловкой, скрывавшей за собой упорное противодействие, или потому, что хотел сделать обывателям сюрприз, – достоверно определить нельзя. Но должно думать, что тут примешивалось отчасти и то и другое. Никакому администратору, ясно понимающему пользу предпринимаемой меры, никогда не кажется, чтоб эта польза могла быть для кого-нибудь неясною или сомнительною. С другой стороны, всякий администратор непременно фаталист и твердо верует, что, продолжая свой административный бег, он в конце концов все-таки очутится лицом к лицу с человеческим телом. Следовательно, если начать предотвращать эту неизбежную развязку предварительными разглагольствиями, то не значит ли это еще больше растравлять ее и придавать ей более ожесточенный характер? Наконец, всякий

администратор добивается, чтобы к нему питали доверие, а какой наилучший способ выразить это доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь?

Как бы то ни было, но глуповцы всегда узнавали о предмете похода лишь по окончании его.

Но как ни казались блестящими приобретенные Бородавкинм результаты, в существе они были далеко не благотворны. Строптивость была истреблена – это правда, но в то же время было истреблено и довольство. Жители понурили головы и как бы захирели; нехотя они работали на полях, нехотя возвращались домой, нехотя садились за скудную трапезу и слонялись из угла в угол, словно все опостылело им.

В довершение всего глуповцы насеяли горчицы и персидской ромашки столько, что цена на эти продукты упала до невероятности. Последовал экономический кризис, и не было ни Молилари, ни Безобразова, чтоб объяснить, что это-то и есть настоящее процветание. Не только драгоценных металлов и мехов не получали обыватели в обмен за свои продукты, но не на что было купить даже хлеба.

Однако до 1790 года дело все еще кой-как шло. С полной порции обыватели перешли на полпорции, но даней не задерживали, а к просвещению оказывали даже некоторое пристрастие. В 1790 году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у них ничего не купил: всем стало жаль клопов. Тогда жители перешли на четверть порции и задержали дани. В это же время, словно на смех, вспыхнула во Франции революция, и стало всем ясно, что «просвещение» полезно только тогда, когда оно имеет характер непросвещенный. Бородавкин получил бумагу, в которой ему рекомендовалось: «По случаю известного вам происшествия извольте прилежно смотреть, дабы неисправимое сие зло искореняемо было без всякого упущения».

Только тогда Бородавкин спохватился и понял, что шел слишком быстрыми шагами и совсем не туда, куда идти следует. Начав собирать дани, он с удивлением и негодованием увидел, что дворы пусты и что если встречались кой-где куры, то и те были тощие от бескормицы. Но, по обыкновению, он обсудил этот факт не прямо, а с своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт,

произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишеством просвещения.

– Вольный дух завели! разжирели! – кричал он без памяти, – на французов поглядываете!

И вот начался новый ряд походов, – походов уже против просвещения. В первый поход Бородавкин спалил слободу Навозную, во второй – разорил Негодницу, в третий – расточил Болото. Но подати всё задерживались. Наступала минута, когда ему предстояло остаться на развалинах одному с своим секретарем, и он деятельно приготавливался к этой минуте. Но провидение не допустило того. В 1798 году уже собраны были скоровоспалительные материалы для сожжения всего города, как вдруг Бородавкина не стало... «Всех расточил он, – говорит по этому случаю летописец, – так, что даже попов для напутствия его не оказалось. Вынуждены были позвать соседнего капитан-исправника, который и засвидетельствовал истребление многмятежного духа его».

## Эпоха увольнения от войн

В 1802 году пал Негодяев. Он пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгоновым насчет конституций. Но, как кажется, это был только благовидный предлог, ибо едва ли даже можно предположить, чтоб Негодяев отказался от насаждения конституции, если б начальство настоятельно того потребовало. Негодяев принадлежал к школе так называемых «птенцов», которым было решительно все равно, что ни насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине истопником и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того, начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания, — это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по сему предмету, а во-вторых, тем, что на место Негодяева градоначальником был назначен «черкашенин» Микаладзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели Негодяев.

Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали; но, как кажется, эти попытки ограничивались тем, что кварталные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за воротник. Это единственная конституция, которая предполагалась возможною при тогдашнем младенческом состоянии общества. Прежде всего необходимо было приучить народ к учтивому обращению и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической такой взгляд, конечно, совершенно верен. Но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что как ни привлекательна теория учтвого обращения, но, взятая изолированно, она нимало не гарантирует людей от внезапного вторжения теории обращения неучтвого (как это и доказано

впоследствии появлением на арене истории такой личности, как майор Угрюм-Бурчеев), и, следовательно, если мы действительно желаем утвердить учтливое обращение на прочном основании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, в свою очередь, доказывает, как шатки теории вообще и как мудро поступают те военачальники, которые относятся к ним с недоверчивостью.

Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачу привлечь сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже с горечью. Ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась снежной белизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил, при докладах, употреблять выражения вроде: «Итак, вы изволили сказать» или: «Я имел уже честь доложить вам» и т. д. Только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он позволил себе сказать: «Я уже имел честь подтвердить тебе, курицыну сыну»... но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался дамскому обществу и в этой страсти нашел себе преждевременную гибель. В оставленном им сочинении «О благовидной господ градоначальников наружности» (см. далее, в оправдательных документах) он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет, но, как кажется, не вполне искренно связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совестно, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь, и потому он захотел уверить потомство, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейский. Догадка эта подтверждается еще тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования производились частые аресты или чтоб кто-нибудь был нещадно бит, без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если б амурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти наверное можно утверждать, что он

любил амуры для амуров и был ценителем женских атуров<sup>[82]</sup> просто, без всяких политических целей; выдумал же эти последние лишь для ограждения себя перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать: не пора ли начать войну? «Он же, – говорит по этому поводу летописец, – жалеючи сиротские слезы, всегда отвечал: не время, ибо не готовы еще собираемые известным мне способом для сего материалы. И, не собрав таковых, умре».

Как бы то ни было, но назначение Микаладзе было для глуповцев явлением в высшей степени отпадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым «сущим» злонравием, но считал себя человеком убеждения (летописец везде вместо слова «убеждения» ставит слово «норов») и в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшавших изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одёжи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.

– Но как вы таким манером жить можете? – спросил у обывателей изумленный Микаладзе.

– Так и живем, что настоящей жизни не имеем, – отвечали глуповцы и при этом не то засмеялись, не то заплакали.

Понятно, что, ввиду такого нравственного расстройтва, главная забота нового градоначальника была направлена к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг. И надо сказать правду, что он действовал в этом смысле довольно искусно. Предприят был целый ряд последовательных мер, которые исключительно клонились к упомянутой выше цели и сущность которых может быть формулирована следующим образом: 1) просвещение и сопряженные с оным экзекуции временно прекратить, и 2) законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительные. Не прошло месяца, как уже шерсть, которою обросли глуповцы, вылиняла вся без остатка, и глуповцы начали стыдиться наготы. Спустя еще один месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в Глупове после многих лет безмолвия состоялся первый хоровод, на котором



лично присутствовал сам градоначальник и потчевал женский пол печатными пряниками.

Таковыми-то мирными подвигами ознаменовал себя черкашенин Микаладзе. Как и всякое выражение истинно плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями, но оно отвечало потребности минуты и вполне достигало тех скромных целей, которые предположило себе. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. «Мудрые мира сего! – восклицает по этому поводу летописец, – прилежно о сем помыслите! и да не смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иные орудия, в коих, по высокоумному мнению вашему, якобы сила и свет просвещения замыкаются!»

По всем этим причинам издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Микаладзе, не очень-то щедр на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны, но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или непрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Микаладзе, находят ее не во всех отношениях безупречною. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение, – это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумие, чтоб даже и в таком, очевидно, полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Микаладзе не имел права не издавать законов, – и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче<sup>[83]</sup> почитают себя счастливыми в

воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными?

Пренебречь этими указаниями опыта едва ли возможно. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких и осязательных фактов, – это не должно мешать нам признать, что Микаладзе был первый в ряду глуповских градоначальников, который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов – прецедент кроткого и бесскверного славословия. Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого; положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям более или менее жестоким; но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Ужели же этого мало?

Одну имел слабость этот достойный правитель – это какое-то неудержимое, почти горячее стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замечательно, что в рассказе его не видится ни горечи, ни озлобления. Один только раз он выражается так: «Много было от него порчи женам и девам глуповским», и этим как будто дает понять, что, и по его мнению, все-таки было бы лучше, если б порчи не было. Но прямого негодования нигде и ни в чем не выказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в изображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут почерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения: «О благовидной градоначальников наружности», написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако ж, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи. А именно: однажды Микаладзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешиться от уз (так называет летописец мундир), как был застигнут врасплох ревнивцем мужем. Произошла баталия, во время которой Микаладзе не столько сражался, сколько был сражаем. Но так как он вслед за тем умылся, то, разумеется, следов от бесчестья не осталось никаких. Кажется, это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде, и потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинении. Это была такая ничтожная

подробность в громадной серии многотрудных его подвигов по сей части, что не вызвала в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время...

Микаладзе умер в 1806 году от истощения сил.

Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда сама собой стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринархович Беневоленский, друг и товарищ Сперанского по семинарии.

С самой ранней юности Беневоленский чувствовал непреодолимую склонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертил несколько законов, между которыми наиболее замечательны следующие: «всякий человек да имеет сердце сокрушенно», «всяка душа да трепещет» и «всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». Но чем более рос высокодаровитый юноша, тем непреодолимее делалась врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель, – в этом никто не сомневался; вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель, то есть напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга или просто будет тверд, как Дракон. Он сам чувствовал всю важность этого вопроса и в письме к «известному другу» (не скрывается ли под этим именем Сперанский?) следующим образом описывает свои колебания по этому случаю.

«Сижу я, – пишет он, – в унылом моем уединении и всеминутно о том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые хотя человеческое счастье устроят (таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании), но, по обстоятельствам, не всегда бывают полезны; есть законы немудрые, которые, ничьего счастья не устрояя, по обстоятельствам бывают, однако ж, благопотребны (примеров сему не привожу: сам знаешь!); и есть, наконец, законы средние, не очень мудрые, но и не весьма немудрые, такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают, однако ж, благопотребны в смысле наилучшего человеческого жизни наполнения. Например, когда мы забываемся и начинаем мнить себя бессмертными, сколь

освежительно действует на нас сие простое выражение: *memento mori!*<sup>[84]</sup> Так точно и тут. Когда мы мним, что счастью нашему нет пределов, что мудрые законы не про нас писаны, а действию немудрых мы не подлежим, тогда являются на помощь законы средние, которых роль в том и заключается, чтоб напоминать живущим, что несть на земле дыхания, для которого не было бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. И поверишь ли, друг? чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних. Они очаровывают мою душу, потому что это, собственно, даже не законы, а скорее, так сказать, *сумрак* законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чем состоит это общение – не понимаешь. И все сие совершается помимо всякого размышления; ни о чем не думаешь, ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается. Это, так сказать, апокалипсическое<sup>[85]</sup> письмо, которое может понять только тот, кто его получает. Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: «какая глупость!» – а между тем всякий же неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон: «Всякий да яст», то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг: зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются. На это отвечу: цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устройства, другие – для того, чтобы законодатели не коснели в праздности...»

И так далее.

Таким образом, когда Беневоленский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уже установился, и установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое черкашенином Микаладзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущее утверждение. Глупову именно нужен был «сумрак законов», то есть такие законы, которые, с пользой занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и, по

мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного.

Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневоленский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневоленскому, он сначала не поверил ему. Стали рыться в сенатских указах, но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномочивал бы Бородавковых, Двоекуровых, Великановых, Беневоленских и т. п. издавать собственного измышления законы, – не оказалось.

– Без закона все, что угодно, можно! – говорил секретарь, – только вот законов писать нельзя-с!

– Странно! – молвил Беневоленский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении.

«Прибыл я в город Глухов, – писал он, – и хотя увидел жителей, предместником моим в тучное состояние приведенных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого между законом и естеством не полагают. И тако, без явного светильника, в претемной ночи бродят. В сей крайности спрашиваю я себя: ежели кому из бродяг сих случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такового падения остережет? Хотя же в Российской Державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись, и даже весьма уповательно, что большая их часть в бывшие пожары сгорела. И того ради, существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, яко градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы, хотя бы даже не первого сорта (о сем и помыслить не смею!), но второго или третьего. В сей мысли еще более меня утверждает то, что город Глухов по самой природе своей есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах отяготительных и многосмысленных. В ожидании же милостивого на сие мое ходатайство разрешения, пребываю» и т. д.

Ответ на это представление последовал скоро.

«На представление, – писалось Беневоленскому, – о считанье города Глухова областью второзакония, предлагается на рассуждение ваше следующее:

1) Ежели таковых областей, в коих градоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от сего некоторого для архитектуры Российской Державы повреждения?

и 2) Ежели будет предоставлено градоначальникам, яко градоначальникам, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и сотским, яко сотским, таковые же законы издавать предоставить, и какого те законы будут сорта?»

Беневоленский понял, что вопрос этот заключает в себе косвенный отказ, и опечалился этим глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, будто бы души его уже коснулся яд единовластия; но это едва ли так. Когда человек и без законов имеет возможность делать все, что угодно, то странно подозревать его в честолюбии за такое действие, которое не только не распространяет, но именно ограничивает эту возможность. Ибо закон, каков бы он ни был (даже такой, как, например: «всякий да яст» или «всяка душа да трепещет»), все-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда честолюбцам не по душе. Очевидно, стало быть, что Беневоленский был не столько честолюбец, сколько добросердечный доктринер<sup>[86]</sup>, которому казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что «всякий имеющий надобность утереть свой нос – да утрет».

Как бы то ни было, но Беневоленский настолько огорчился отказом, что удалился в дом купчихи Распоповой (которую уважал за искусство печь пироги с начинкой) и, чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, с упоением предался сочинению проповедей. Целый месяц во всех городских церквях читали попы эти мастерские проповеди, и целый месяц вздыхали глуповцы, слушая их, – так чувствительно они были написаны! Сам градоначальник учил попов, как произносить их.

– Проповедник, – говорил он, – обязан иметь сердце сокрушенно и, следственно, главу слегка наклоненную набок. Глас не лаятельный, но томный, как бы воздыхающий. Руками не неистовствовать, но, утвердив первоначально правую руку близ сердца (сего истинного источника всех воздыханий), постепенно оную отодвигать в пространство, а потом вспять к тому же источнику обращать. В

патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токмо вздыхать громчае.

А глуповцы между тем тучнели все больше и больше, и Беневоленский не только не огорчился этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль: а что, кабы сим благополучным людям да кровь пустить? напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь, по улицам, он даже задавал себе вопрос: не потому ли люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их? Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтоб мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взоры от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладевала им.

– Я даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна, – обращался он к купчихе Распоповой, – что бы я такое наделал и как были бы сии люди против нынешнего благополучнее, если б мне хотя по одному закону в день издавать предоставлено было!

Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будочки, но и собаки спали, он вышел, крадучись, на улицу и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый, сочиненный им для Глупова, закон. И хотя он понимал, что этот путь республикования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко вопияла об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия.

Закон был, видимо, написан второпях, а потому отличался необыкновенною краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее:

#### ЗАКОН 1-й

«Всякий человек да опасно ходит; откупщик же да принесет дары».

И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к градоначальнику. Произошло объяснение; откупщик доказывал, что он и прежде был готов по мере возможности; Беневоленский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может; что такое выражение, как «мера возможности», ничего не говорит ни уму, ни сердцу и что ясен только

закон. Остановились на трех тысячах рублей в год и постановили считать эту цифру законною, до тех пор, однако ж, пока «обстоятельства перемены законам не сделают».

Рассказав этот случай, летописец спрашивает себя: была ли польза от такого закона? – и отвечает на этот вопрос утвердительно. «Напоминанием об опасном хождении, – говорит он, – жители города Глупова нимало потревожены не были, ибо и до того, по самой своей природе, великую к таковому хождению способность имели и повсеминутно в оном упражнялись. Но откупщик пользы того узаконения ощутил подлинно, ибо когда преемник Беневоленского, Прыщ, вместо обычных трех тысяч потребовал против прежнего вдвое, то откупщик продерзостно отвечал: «Не могу, ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь». Прыщ же сказал: «И мы тот закон переменим». И переменил».

Ободренный успехом первого закона, Беневоленский начал деятельно приготовляться к изданию второго. Плоды оказались скорые, и на улицах города тем же таинственным путем явился новый и уже более пространный закон, который гласил тако:

### **УСТАВ О ДОБРОПОРЯДОЧНОМ ПИРОГОВ ПЕЧЕНИИ**

«1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и в будни.

2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу – класть; изрубив намелко скотское мясо – класть же; изрубив капусту – тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.

*Примечание.* Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.

3. По положению начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится.

4. По вынутии из печи, всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из середины часть, да принесет оную в дар.

5. Исполнивший сие да яст».

Глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узаконения, что они издревле были приучены вырезывать часть своего пирога и приносить ее в дар. Хотя же в последнее время, при либеральном управлении Микаладзе, обычай этот, по упущению, не исполнялся, но



они не роптали на его возобновление, ибо надеялись, что он еще теснее скрепит благожелательные отношения, существовавшие между ними и новым градоначальником. Все наперерыв спешили обрадовать Беневоленского: каждый приносил лучшую часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу.

С тех пор законодательная деятельность в городе Глупове закипела. Не проходило дня, чтоб не явилось нового подметного письма и чтобы глуповцы не были чем-нибудь обрадованы. Настал наконец момент, когда Беневоленский начал даже помышлять о конституции.

– Конституция, доложу я вам, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна, – говорил он купчихе Распоповой, – вовсе не такое уж пугало, как люди несмысленные о сем полагают. Смысл каждой конституции таков: всякий в дому своем благополучно да почивает! Что же тут, спрашиваю я вас, сударыня моя, страшного или презорного?<sup>[87]</sup>

И начал он обдумывать свое намерение, но чем больше думал, тем более запутывался в своих мыслях. Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову: «права́». Слово «обязанности» он сознавал очень ясно, так что мог об этом предмете исписать целые дести<sup>[88]</sup> бумаги, но «права́» – что такое «права́»? Достаточно ли было определить их, сказав: «Всякий в дому своем благополучно да почивает»? не будет ли это чересчур уж кратко? А с другой стороны, если пуститься в разъяснения, не будет ли чересчур уж обширно и для самих глуповцев обременительно?

Сомнения эти разрешились тем, что Беневоленский, в виде переходной меры, издал «Устав о свойственном градоначальнику добросердечии», который, по обширности его, помещается в оправдательных документах.

– Знаю я, – говорил он по этому случаю купчихе Распоповой, – что истинной конституции документ сей в себе еще не заключает, но прошу вас, моя почтеннейшая, принять в соображение, что никакое здание, хотя бы даже то был куриный хлев, разом не завершается! По времени выполним и остальное достолюбезное нам дело, а теперь утешимся тем, что возложим упование наше на бога!

Тем не менее нет никакого повода сомневаться, что Беневоленский рано или поздно привел бы в исполнение свое

намерение, но в это время над ним уже нависли тучи. Виною всему был Бонапарт. Наступил 1811 год, и отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми. Однако ж слава этого нового «бича божия» еще не померкла и даже достигла Глупова. Там, между многочисленными его почитательницами (замечательно, что особенную приверженностью к врагу человечества отличался женский пол), самый горячий фанатизм выказывала купчиха Расопова.

– Уж как мне этого Бонапарта захотелось! – говаривала она Беневоленскому, – кажется, ничего бы не пожалела, только бы глазком на него взглянуть!

Сначала Беневоленский сердился и даже называл речи Распоповой «дурьими», но так как Марфа Терентьевна не унималась, а все больше и больше приставала к градоначальнику: вынь да положь Бонапарта, то под конец он изнемог. Он понял, что не исполнить требование «дурьей породы» невозможно, и мало-помалу пришел даже к тому, что не находил в нем ничего предосудительного.

– Что же! пушай дурья порода натешится! – говорил он себе в утешение, – кому от того убыток!

И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном...

Каким образом об этих сношениях было узнано – это известно одному богу; но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих *petits levés*<sup>[89]</sup>. И вот в одно прекрасное утро Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник, и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену.

Тут открылось все: и то, что Беневоленский тайно призывал Наполеона в Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание это не приняли, или, лучше сказать, ответили на него так, что «правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, кои предерзостно законами именует, воздержался».

Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердою поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре стороны, как с

смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы и в этом случае удивили мир своею неблагодарностью и, как только узнали, что градоначальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневоленский испил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес: «Бездельники!» – и, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял.

Так окончил свое административное поприще градоначальник, в котором страсть к законодательству находилась в непрерывной борьбе с страстью к пирогам. Изданные им законы в настоящее время, впрочем, действия не имеют.

Но счастью глуповцев, по-видимому, не предстояло еще скорого конца. На смену Беневоленскому явился подполковник Прыщ и привез с собою систему администрации еще более упрощенную.

Прыщ был уже не молод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый. И все это украшалось блестящими штаб-офицерскими эполетами, которые так и играли на плечах при малейшем его движении.

По принятому обыкновению, он сделал рекомендательные визиты к городским властям и прочим знатным обоего пола особам и при этом развил перед ними свою программу.

– Я человек простой-с, – говорил он одним, – и не для того сюда приехал, чтоб издавать законы-с. Моя обязанность наблюдать, чтобы законы были в целости и не валялись по столам-с. Конечно, и у меня есть план кампании, но этот план таков: отдохнуть-с!

Другим он говорил так:

– Состояние у меня, благодарение богу, изрядное. Командовал-с; стало быть, не растратил, а умножил-с. Следственно, какие есть насчет этого законы – те знаю, а новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже

устроили бы бомбардировку, но я человек простой и утешения для себя в атаках не вижу-с!

Третьим высказывался так:

– Я не либерал и либералом никогда не бывал-с. Действую всегда прямо и потому даже от законов держусь в отдалении. В затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного: чтоб закон был старый. Новых законов не люблю-с. Многие в них пропускается, а о прочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте, прочее же надеюсь исполнить в точности!

Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках:

– Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать-с.

Этого мало: в первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию.

– Ну, старички, – сказал он обывателям, – давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы – что же-с! Все это вам же на пользу-с! По мне, даже монументы воздвигайте – я и в этом препятствовать не стану! Только с огнем, ради Христа, осторожнее обращайтесь, потому что тут недолго и до греха. Имущества свои попалите, сами погорите – что хорошего!

Как ни избалованы были глуповцы двумя последними градоначальниками, но либерализм столь беспредельный заставил их призадуматься: нет ли тут подвоха? Поэтому некоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шепотом и вообще «опасно ходили». Казалось несколько странным, что градоначальник не только отказывается от вмешательства в обывательские дела, но даже утверждает, что в этом-то невмешательстве и заключается вся сущность администрации.

– И законов издавать не будешь? – спрашивали они его с недоверчивостью.

– И законов не буду издавать – живите с богом!

– То-то! уж ты сделай милость, не издавай! Смотри, как за это прохвосту-то (так называли они Беневоленского) досталось! Стало

быть, коли опять за то же примешься, как бы и тебе и нам в ответ не попасть!

Но Прыщ был совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решил следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил по гостям, принимал обеды и балы и даже завел стаю борзых и гончих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев, лисиц, а однажды заповелевал<sup>[90]</sup> очень хорошенькую мещаночку. Не без иронии отзывался он о своем предместнике, томившемся в то время в заточении.

– Филат Иринархович, – говорил, – больше на бумаге сулил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почивать будут, а я на практике это самое предоставляю... да-с!

И точно: несмотря на то что первые шаги Прыща были встречены глуповцами с недоверием, они не успели и оплянуться, как всего у них очутилось против прежнего вдвое и втрое. Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностью и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление: «Не то что в других городах, – с горечью говорит летописец, – где железные дороги<sup>[91]</sup> не успевают перевозить дары земные, на продажу назначенные, жители же от бескормицы в отошание приходят. В Глупове, в сию счастливую годину, не токмо хозяин, но и всякий наймит ел хлеб настоящий, а не в редкость бывали и шти с приварком».

Прыщ смотрел на это благополучие и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобилие отразилось и на нем. Амбары его ломились от приношений, делаемых в натуре; сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнации просто валялись по полу.

Так прошел и еще год, в течение которого у глуповцев всякого добра явилось уже не вдвое или втрое, но вчетверо. Но по мере того как развивалась свобода, нарождался и исконный враг ее – анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг, а с

приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей. Так бывает всегда, но глуповцы употребили эту «новоявленную у них способность» не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтоб оное подорвать.

Неокрепшие в самоуправлении, глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению. Стали присматривать за Прыщом и нашли в его поведении нечто сомнительное. Рассказывали, например, что однажды кто-то застал его спящим на диване, причем будто бы тело его было кругом обставлено мышеловками. Другие шли далее и утверждали, что Прыщ каждую ночь уходит спать на ледник. Все это обнаруживало нечто таинственное, и хотя никто не спросил себя, какое кому дело до того, что градоначальник спит на леднике, а не в обыкновенной спальне, но всякий тревожился. Общие подозрения еще более увеличились, когда заметили, что местный предводитель дворянства с некоторого времени находится в каком-то неестественно возбужденном состоянии и всякий раз, как встретится с градоначальником, начинает кружиться и выделывать нелепые телодвижения.

Нельзя сказать, чтоб предводитель отличался особыми качествами ума и сердца; но у него был желудок, в котором, как в могиле, исчезали всякие куски. Этот не весьма замысловатый дар природы сделался для него источником живейших наслаждений. Каждый день с раннего утра он отправлялся в поход по городу и поднюхивал запахи, вылетающие из обывательских кухонь. В короткое время обоняние его было до такой степени изощрено, что он мог безошибочно угадать составные части самого сложного фарша.

Уже при первом свидании с градоначальником предводитель почувствовал, что в этом сановнике таится что-то не совсем обыкновенное, а именно, что от него пахнет трюфелями. Долгое время он боролся с своею догадкою, принимая ее за мечту воспаленного съестными припасами воображения, но чем чаще повторялись свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях письмоводителю дворянской опеки Половинкину.

– Пахнет от него! – говорил он своему изумленному наперснику, – пахнет! Точно вот в колбасной лавке!

– Может быть, они трюфельной помадой голову себе мажут-с? – усомнился Половинкин.

– Ну, это, брат, дудки! После этого каждый поросенок будет тебе в глаза лгать, что он не поросенок, а только пороссячьими духами прыскается!

На первый раз разговор не имел других последствий, но мысль о пороссячьих духах глубоко запала в душу предводителя. Впавши в гастрономическую тоску, он слонялся по городу словно влюбленный и, завидев где-нибудь Прыща, самым нелепым образом облизывался. Однажды во время какого-то соединенного заседания, имевшего предметом устройство во время масленицы усиленного гастрономического торжества, предводитель, доведенный до исступления острым запахом, распространяемым градоначальником, вне себя вскочил с своего места и крикнул: «Уксусу и горчицы!» И затем, припав к градоначальнической голове, стал ее нюхать.

Изумление лиц, присутствовавших при этой загадочной сцене, было беспредельно. Станным показалось и то, что градоначальник хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказал:

– Угадал, каналья!

И потом, спохватившись, с непринужденностью, очевидно притворною, прибавил:

– Кажется, наш достойнейший предводитель принял мою голову за фаршированную... ха-ха!

Увы! Это косвенное признание заключало в себе самую горькую правду!

Предводитель упал в обморок и вытерпел горячку, но ничего не забыл и ничему не научился. Произошло несколько сцен, почти неприличных. Предводитель юлил, кружился и наконец, очутившись однажды с Прыщом глаз на глаз, решился.

– Кусочек! – стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы.

При первом же звуке столь определенно сформулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и,

встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски.

Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба; но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладострастно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника душкой, милкой и другими несвойственными этому сану именами; лизал его, нюхал и т. д. Наконец с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил.

За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи...

Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол.

На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова...

Но никто не догадался, что благодаря именно этому обстоятельству город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания.



## Поклонение мамоне<sup>[92]</sup> и покаяние

Человеческая жизнь – сновидение, говорят философы-спиритуалисты<sup>[93]</sup>, и если бы они были вполне логичны, то прибавили бы: и история – тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стусевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т. д.

Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности; однако ж едва ли возможно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее, до самого дна? пребывают ли они спокойными, или и на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое? – с полной достоверностью определить это невозможно, так как вообще у нас еще нет привычки приглядываться к тому, что уходит далеко вглубь. Но едва ли мы ошибемся, сказавши, что давление чувствуется и там. Отчасти оно выражается в форме материальных ущербов и утрат, но преимущественно в форме более или менее продолжительной отсрочки общественного развития. И хотя результаты этих утрат с особенною горечью сказываются лишь впоследствии, однако ж можно догадываться, что и современники без особенного удовольствия относятся к тем давлениям, которые тяготят над ними.

Одну из таких тяжелых исторических эпох, вероятно, переживал Глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно, на поверхность же выступили какие-то злостные эманации<sup>[94]</sup>, которые и завладели всецело ареной истории. Искусственные примеси сверху донизу опутали Глупов, и ежели можно сказать, что в общей экономии его существования эта искусственность была бесполезна, то с не меньшей правдой можно утверждать и то, что люди, живущие под гнетом ее, суть люди не весьма счастливые. Претерпеть Бородавкина для того, чтоб познать пользу употребления некоторых злаков; претерпеть Урус-Кугуш-Кильдибаева для того, чтобы ознакомиться с настоящею отвагою, — как хотите, а такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным, хотя, с другой стороны, и нельзя отрицать, что некоторые злаки действительно полезны, да и отвага, употребленная в свое время и в своем месте, тоже не вредит.

При таких условиях невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какие-нибудь подвиги по части благоустройства и благочиния или особенно успели по части наук и искусств. Для них подобные исторические эпохи суть годы учения, в течение которых они испытывают себя в одном: в какой мере они могут претерпеть. Такими именно и представляет нам летописец своих сограждан. Из рассказа его видно, что глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости, в смысле самоуправления; что, напротив того, они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что это картина не лестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления. Историю этих ошеломлений летописец раскрывает перед нами с тою безыскусственностью и правдою, которыми всегда отличаются рассказы бытописателей-архивариусов. По моему мнению, это все, чего мы имеем право требовать от него. Никакого преднамеренного глумления в рассказе его не замечается; напротив того, во многих местах заметно даже сочувствие к бедным ошеломляемым. Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой,

глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка.

Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доселе считается стоящею как бы вне пределов истории. С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организовать и окрепнуть, с другой – рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных?

Что сила, о которой идет речь, отнюдь не выдуманная – это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе. Представители этой школы совершенно искренно проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут и тем блестящее будет сама история. Конечно, это мнение не весьма умное, но как доказать это людям, которые настолько в себе уверены, что никаких доказательств не слушают и не принимают? Прежде нежели начать доказывать, надобно еще заставить себя выслушать, а как это сделать, когда жалобщик самого себя не умеет достаточно убедить, что его не следует истреблять?

– Говорил я ему: «Какой вы, сударь, имеете резон драться?», а он только знай по зубам щелкает: вот тебе резон! вот тебе резон!

Такова единственно ясная формула взаимных отношений, возможная при подобных условиях. Нет резона драться, но нет резона и не драться; в результате виднеется лишь печальная тавтология<sup>[95]</sup>, в которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтология эта держится на нитке, на одной только нитке, но как оборвать эту нитку? – в этом-то весь и вопрос. И вот само собою высказывается мнение: не лучше ли возложить упование на будущее? Это мнение тоже не весьма умное, но что же делать, если никаких других мнений еще не выработалось? И вот его-то, по-видимому, держались и глуповцы.

Уподобив себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы: и разумные и неразумные. Разумный кредитор помогает

должнику выйти из стесненных обстоятельств и в вознаграждение за свою разумность получает свой долг. Неразумный кредитор сажает должника в острог или непрерывно сечет его и в вознаграждение не получает ничего. Рассудив таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными? И ждут до сего дня.

Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей города Глупова. Это люди, как и все другие, с тою только оговоркою, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которою почти ничего не видно. Поэтому о действительных «свойствах» и речи нет, а есть речь только о наносных атомах. Было ли бы лучше или даже приятнее, если б летописец вместо описания нестройных движений изобразил в Глупове идеальное средоточие законности и права? Например, в ту минуту, когда Бородавкин требует повсеместного распространения горчицы, было ли бы для читателей приятнее, если б летописец заставил обывателей не трепетать перед ним, а с успехом доказывать несвоевременность и неуместность его затей?

Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращение глуповских обычаев было бы не только не полезно, но даже положительно неприятно. И причина тому очень проста: рассказ летописца в этом виде оказался бы *несогласным с истиною*.

...Неожиданное усекновение головы майора Прыща не оказало почти никакого влияния на благополучие обывателей. Некоторое время, за оскудением градоначальников, городом управляли квартальные; но так как либерализм еще продолжал давать тон жизни, то и они не бросались на жителей, но учтиво прогуливались по базару и умильно рассматривали, который кусок пожирнее. Но даже и эти скромные походы не всегда сопровождались для них удачею, потому что обыватели настолько осмелились, что охотно дарили только требухой.

Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор, но и то не со стороны обывателей против квартальных (как это обыкновенно бывает), а, напротив того, со стороны квартальных против обывателей (чего никогда не бывает). А именно: мучимые голодом квартальные решились отравить в гостинном дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавки. К счастью, покушение было

усмотрено вовремя, и заговор разрешился тем, что самих же заговорщиков лишили на время установленной дачи требухи.

После этого прибыл в Глупов статский советник Иванов, но оказался столь малого роста, что не мог вмещать ничего пространного. Как нарочно, это случилось в ту самую пору, когда страсть к законодательству приняла в нашем отечестве размеры чуть-чуть не опасные; канцелярии кипели уставами, как никогда не кипели сказочные реки млеком и медом, и каждый устав весил отнюдь не менее фунта. Вот это-то обстоятельство именно и причинило гибель Иванова, рассказ о которой, впрочем, существует в двух совершенно различных вариантах. Один вариант говорит, что Иванов умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся. Другой вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении) перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где и удалось ему положить начало целой особи короткоголовых (микроцефалов), которые существуют в доднесь.

Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия – решить трудно; но справедливость требует сказать, что атрофирование столь важного органа, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время. Однако ж, с другой стороны, не подлежит сомнению, что микроцефалы действительно существуют и что родоначальником их предание называет именно статского советника Иванова. Впрочем, для нас это вопрос второстепенный; важно же то, что глуповцы и во времена Иванова продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу.

В 1815 году приехал на смену Иванову виконт<sup>[96]</sup> Дю-Шарио, французский выходец. Париж был взят; враг человечества навсегда водворен на острове Св. Елены; «Московские ведомости» заявили, что с посрамлением врага задача их кончилась, и обещали прекратить свое существование; но на другой день взяли свое обещание назад и дали другое, которым обязывались прекратить свое существование лишь тогда, когда Париж будет взят вторично. Ликование было общее, а вместе со всеми ликовал и Глупов. Вспомнили про купчиху

Распопову, как она вместе с Беневоленским интриговала в пользу Наполеона, выволокли ее на улицу и разрешили мальчишкам дразнить. Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называя ее Бонапартовной, антихристовой наложницей и проч., покуда наконец она не пришла в иступление и не начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь впоследствии, когда в Глупов прибыл Угрюм-Бурчеев и не оставил в городе камня на камне.

Дю-Шарио был весел. Во-первых, его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взят; во-вторых, он столько времени настоящим манером не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райскою пищею. Наевшись досыта, он потребовал, чтоб ему немедленно указали место, где было бы можно *passer son temps a faire des betises*<sup>[97]</sup>, и был отменно доволен, когда узнал, что в Солдатской слободе есть именно такой дом, какого ему желательно. Затем он начал болтать и уже не переставал до тех пор, покуда не был, по распоряжению начальства, выпровожен из Глупова за границу. Но так как он все-таки был сыном XVIII века, то в болтовне его нередко прорывался дух исследования, который мог бы дать очень горькие плоды, если б он не был в значительной степени смягчен духом легкомыслия. Так, например, однажды он начал объяснять глуповцам права человека, но, к счастью, кончил тем, что объяснил права Бурбонов. В другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уверовать в богиню Разума, и кончил тем, что просил признать непогрешимость папы. Все это были, однако ж, одни *façons de parler*<sup>[98]</sup>, и, в сущности, виконт готов был стать на сторону какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что за это ему перепадет лишний четвертак.

Он веселился без устали, почти ежедневно устраивал маскарады, одевался дебардером<sup>[99]</sup>, танцевал канкан и в особенности любил интриговать мужчин<sup>[100]</sup>. Мастерски пел он гривуазные песенки и уверял, что этим песням научил его граф Дартуа (впоследствии французский король Карл X) во время пребывания в Риге. Ел сначала все, что попало, но когда отъелся, то стал употреблять преимущественно так называемую н́ечисть, между которой отдавал предпочтение давлению и лягушкам. Но дел не вершил и в администрацию не вмешивался.

Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие гуповцев без конца; но они сами изнемогали под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них. Победа над Наполеоном еще более утвердила их в этом мнении, и едва ли не в эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица: «Шапками закидаем!», которая впоследствии долгое время служила девизом гуповских подвигов на поле брани.

И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует «бесстыжим гуповским неистовством», но которые гораздо приличнее назвать скоропреходящим гуповским баловством.

Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Обличения того времени полны самых горьких указаний на этот печальный факт. «Было время, – гремели обличители, – когда гуповцы древних Платонов и Сократов благочестием посрамляли; ныне же не токмо сами Платонами сделались, но даже того горчае, ибо едва ли и Платон хлеб божий не в уста, а на пол метал, как нынешняя некая модная затея то делать повелевает». Но гуповцы не внимали обличителям и с дерзостью говорили: «Хлеб пущай свиньи едят, а мы свиней съедим – тот же хлеб будет!» И Дю-Шарио не только не возбранял подобных ответов, но даже видел в них возникновение какого-то духа исследования.

Почувствовавши себя на воле, гуповцы с какой-то яростью устремились по той покатоности, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню, с таким расчетом, чтоб верхний ее конец непременно упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники были неученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, быть может, благодаря этому обстоятельству избежали смещения языков.

Но и этого показалось мало. Забыли гуповцы истинного бога и прилепились к идолам. Вспомнили, что еще при Владимире Красном Солнышке некоторые вышедшие из употребления боги были сданы в архив, бросились туда и вытащили двух: Перуна и Волоса. Идолы, несколько веков не знавшие ремонта, находились в страшном



запущении, а у Перуна даже были нарисованы углем усы. Тем не менее глуповцам показались они так любы, что немедленно собрали они сходку и порешили так: знатным обоюго пола особам кланяться Перуну, а смердам – приносить жертвы Волосу. Призвали и причетников<sup>[101]</sup> и требовали, чтоб они сделались кудесниками; но они ответа не дали и в смущении лишь трепетали воскрилиями. Тогда припомнили, что в Стрелецкой слободе есть некто, именуемый «расстрига Кузьма» (тот самый, который, если читатель припомнит, задумывал при Бородавкине перейти в раскол), и послали за ним. Кузьма к этому времени совсем уже оглох и ослеп, но едва дали ему понюхать монету рубль, как он сейчас же на все согласился и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева из оперы «Рогнеда».

Дю-Шарио смотрел из окна на всю эту церемонию и, держась за бока, кричал: «Sont-ils betes! dieux des dieux! sont-ils betes, ces moujiks de Glouppoff!»<sup>[102]</sup>

Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам. Появились кокотки и кокодессы; мужчины завели жилетки с неслыханными вырезками, которые совершенно обнажали грудь; женщины устраивали сзади возвышения, имевшие преобразовательный смысл и возбуждавшие в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык – получеловечий, полуобезьяний, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было отвлеченных мыслей. Знатные особы ходили по улицам и пели: «A moi l'rompon», или «La Venus aux carottes»<sup>[103]</sup>, смерды слонялись по кабакам и горланили камаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля. Уважение к старшим исчезло; агитировали вопрос, не следует ли, по достижении людьми известных лет, устранять их из жизни, но корысть одержала верх, и порешили на том, чтобы стариков и старух продать в рабство. В довершение всего очистили какой-то манеж и поставили в нем «Прекрасную Елену», пригласив, в качестве исполнительницы, девицу Бланш Гандон.

И за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире.

В таком положении застал глуповские дела статский советник Эраст Андреевич Грустилов. Человек он был чувствительный, и когда



говорил о взаимных отношениях двух полов, то краснел. Только что перед этим он сочинил повесть под названием: «Сатурн, останавливающий свой бег в объятиях Венеры», в которой, по выражению критиков того времени, счастливо сочеталась нежность Апулея с игривостью Парни. Под именем Сатурна он изображал себя, под именем Венеры – известную тогда красавицу Наталью Кирилловну де Помпадур. «Сатурн, – писал он, – был обременен годами и имел согбенный вид, но еще мог некоторое совершить. Надо же, чтоб Венера, заметив сию в нем особенность, остановила на нем благосклонный свой взгляд...»

Но меланхолический вид (предтеча будущего мистицизма) прикрывал в нем много наклонностей, несомненно порочных. Так, например, известно было, что, находясь при действующей армии провиантмейстером, он довольно непринужденно распоряжался казенною собственностью и облегчал себя от нареканий собственной совести только тем, что, взирая на солдат, евших затхлый хлеб, проливал обильные слезы. Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то «особенности», а просто с помощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначение. Когда же Помпадурша была, «за слабое держание некоторой тайности», сослана в монастырь и пострижена под именем инокини Нимфодоры, то он первый бросил в нее камнем и написал «Повесть о некоторой многолюбивой жене», в которой делал очень ясные намеки на прежнюю свою благодетельницу. Сверх того, хотя он робел и краснел в присутствии женщин, но под этою робостью таилось то пущее сластолюбие, которое любит предварительно раздражить себя и потом уже неуклонно стремится к начертанной цели. Примеров этого затаенного, но жгучего сластолюбия рассказывали множество. Таким образом, однажды, одевшись лебедем, он подплыл к одной купавшейся девице, дочери благородных родителей, у которой только и приданого было, что красота, и в то время, когда она гладила его по головке, сделал ее на всю жизнь несчастною. Одним словом, он основательно изучил мифологию и хотя любил прикидываться благочестивым, но, в сущности, был злейший идолопоклонник.

Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При самом въезде в город он встретил процессию, которая сразу заинтересовала его. Шесть девиц, одетых в прозрачные хитоны, несли на носилках Перунов болван; впереди, в восторженном состоянии, скакала предводительша, прикрытая одними страусовыми перьями; сзади следовала толпа дворян и дворянок, между которыми виднелись почетнейшие представители глуповского купечества (мужики, мещане и краснорядцы победнее кланялись в это время Волосу). Дойдя до площади, толпа остановилась. Перуна поставили на возвышение, предводительша встала на колени и громким голосом начала читать «Жертву вечернюю» г. Боборыкина.

– Что такое? – спросил Грустилов, высовываясь из кареты и кося исподтишка глазами на наряд предводительши.

– Перуновы именины справляют, ваше высококородие! – отвечали в один голос квартальные.

– А девочки... девочки... есть? – как-то томно спросил Грустилов.

– Весь синклит-с! – отвечали квартальные, сочувственно переглянувшись между собою.

Грустилов вздохнул и приказал следовать далее.

Остановившись в градоначальническом доме и осведомившись от письмоводителя, что недоимок нет, что торговля процветает, а земледелие с каждым годом совершенствуется, он задумался на минуту, потом помялся на одном месте, как бы затрудняясь выразить заветную мысль, но наконец каким-то неуверенным голосом спросил:

– Тетерева у вас водятся?

– Точно так-с, ваше высококородие!

– Я, знаете, мой почтеннейший, люблю иногда... Хорошо иногда посмотреть, как они... как в природе ликование этакое бывает...

И покраснел. Письмоводитель тоже на минуту смутился, однако ж сейчас же вслед за тем и нашелся.

– На что лучше-с! – отвечал он, – только осмелюсь доложить вашему высококородию: у нас на этот счет даже лучше зрелища видеть можно-с!

– Гм... да?..

– У нас, ваше высококородие, при предместнике вашем, кокотки завелись, так у них в народном театре как есть настоящий ток

устроен-с. Каждый вечер собираются-с, свищут-с, ногами перебирают-с...

– Любопытно взглянуть! – промолвил Грустилов и сладко задумался.

В то время существовало мнение, что градоначальник есть хозяин города, обыватели же суть как бы его гости. Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно хозяина обыкновенного приличиями не допускалось. Грустилов вспомнил об этом праве и задумался еще слаще.

– А часто у вас секут? – спросил он письмоводителя, не поднимая на него глаз.

– У нас, ваше высокородие, эта мода оставлена-с. Со времени Онуфрия Иваныча господина Негодяева, даже примеров не было. Всё лаской-с.

– Ну-с, а я сечь буду... девочек!.. – прибавил он, внезапно покраснев.

Таким образом, характер внутренней политики определился ясно. Предполагалось продолжать действия пяти последних градоначальников, усугубив лишь элемент гривуазности, внесенной виконтом Дю-Шарио, и сдобрив его, для вида, известным колоритом сентиментальности. Влияние кратковременной стоянки в Париже сказывалось повсюду. Победители, принявшие впопыхах гидру деспотизма за гидру революции и покорившие ее, были, в свою очередь, покорены побежденными. Величавая дикость прежнего времени исчезла без следа; вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые, явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось «ездою на остров любви»; грубая терминология анатомии заменилась более утонченной; появились выражения вроде «шаловливый мизантроп»<sup>[104]</sup>, «милая отшельница» и т. п.

Тем не менее, говоря сравнительно, жить было все-таки легко, и эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам. Ударившись в политеизм<sup>[105]</sup>, осложненный гривуазностью, представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко

всему, что происходило вне замкнутой сферы «езды на остров любви». Они чувствовали себя счастливыми и довольными и в этом качестве не хотели препятствовать счастью и удовольствию других. Во времена Бородавкиных, Негодяевых и проч. казалось, например, непросителю дерзостью, если смерд поливал свою кашу маслом. Не потому это была дерзость, чтобы от того произошел для кого-нибудь ущерб, а потому что люди, подобные Негодяеву, – всегда отчаянные теоретики и предполагают в смерде одну способность: быть твердым в бедствиях. Поэтому они отнимали у смерда кашу и бросали собакам. Теперь этот взгляд значительно изменился, чему, конечно, не в малой степени содействовало и размягчение мозгов – тогдашняя модная болезнь. Смерды воспользовались этим и наполняли свои желудки жирной кашей до крайних пределов. Им неизвестна еще была истина, что человек не одной кашей живет, и поэтому они думали, что если желудки их полны, то это значит, что и сами они вполне благополучны. По той же причине они так охотно прилепились и к многобожию: оно казалось им более сподручным, нежели монотеизм<sup>[106]</sup>. Они охотнее преклонялись перед Волосом или Ярилою, но в то же время мотали себе на ус, что если долгое время не будет у них дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и вообще сорвать на них досаду. И хотя очевидно, что материализм столь грубый не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял.

Все спешило жить и наслаждаться; спешил и Грустилов. Он совсем бросил городническое правление и ограничил свою административную деятельность тем, что удвоил установленные предместниками его оклады и требовал, чтобы они бездоимочно поступали в назначенные сроки. Все остальное время он посвятил поклонению Киприде<sup>[107]</sup> в тех неслыханно разнообразных формах, которые были выработаны цивилизацией того времени. Это беспечное отношение к служебным обязанностям было, однако ж, со стороны Грустилова большою ошибкою.

Несмотря на то что в бытность свою провиантмейстером Грустилов довольно ловко утаивал казенные деньги, административная опытность его не была ни глубока, ни многостороння. Многие думают, что ежели человек умеет

незаметным образом вытащить платок из кармана своего соседа, то этого будто бы уже достаточно, чтобы упрочить за ним репутацию политика или сердцеведа. Однако это ошибка. Воры-сердцеведы встречаются чрезвычайно редко; чаще же случается, что мошенник даже самый грандиозный только в этой сфере и является замечательным деятелем, вне же пределов ее никаких способностей не выказывает. Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. Но какими бы именами ни прикрывало себя ограбление, все-таки сфера грабителя останется совершенно другою, нежели сфера сердцеведа, ибо последний уловляет людей, тогда как первый уловляет только принадлежащие им бумажники и платки. Следовательно, ежели человек, произведший в свою пользу отчуждение на сумму в несколько миллионов рублей, сделается впоследствии даже меценатом<sup>[108]</sup> и построит мраморный палаццо, в котором сосредоточит все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искусным общественным деятелем, а следует назвать только искусным мошенником.

Но в то время истины эти были еще неизвестны, и репутация сердцеведа утвердилась за Грустиловым беспрепятственно. В сущности, однако ж, это было не так. Если бы Грустилов стоял действительно на высоте своего положения, он понял бы, что предместники его, возведшие тунеядство в административный принцип, заблуждались очень горько и что тунеядство, как животворное начало, только тогда может считать себя достигающим полезных целей, когда оно концентрируется в известных пределах. Если тунеядство существует, то предполагается само собою, что рядом с ним существует и трудолюбие – на этом зиждется вся наука политической экономии. Трудолюбие питает тунеядство, тунеядство же оплодотворяет трудолюбие – вот единственная формула, которую с точки зрения науки можно свободно прилагать ко всем явлениям жизни. Грустилов ничего этого не понимал. Он думал, что тунеядствовать могут все поголовно и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого, но даже увеличатся. Это было первое грубое его заблуждение.

Второе заблуждение заключалось в том, что он слишком увлекся блестящею стороною внутренней политики своих предшественников. Внимая рассказам о благосклонном бездействии майора Прыща, он соблазнился картиною общего ликования, бывшего результатом этого бездействия. Но он упустил из виду, во-первых, что народы даже самые зрелые не могут благоденствовать слишком продолжительное время, не рискуя впасть в грубый материализм, и, во-вторых, что, собственно, в Глупове благодаря вывезенному из Парижа духу вольномыслия благоденствие в значительной степени осложнялось озорством. Нет спора, что можно и даже должно давать народам случай вкушать от плода познания добра и зла, но нужно держать этот плод твердой рукою и притом так, чтобы можно было во всякое время отнять его от слишком лакомых уст.

Последствия этих заблуждений сказались очень скоро. Уже в 1815 году в Глупове был чувствительный недород, а в следующем году не родилось совсем ничего, потому что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того понадеялись на свое счастье, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине.

– И так, шельма, родит! – говорили они в чаду гордыни.

Но надежды их не сбылись, и когда поля весной освободились от снега, то глуповцы не без изумления увидели, что они стоят совсем голые. По обыкновению, явление это приписали действию враждебных сил и завинили богов за то, что они не оказали жителям достаточной защиты. Начали сечь Волоса, который выдержал наказание стоически, потом принялись за Ярилу, и говорят, будто бы в глазах его показались слезы. Глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и стали ждать, что будет. Но ничего особенного не произошло. Был дождь, и было ведро, но полезных злаков на незасеянных полях не появилось.

Грустилов присутствовал на костюмированном балу (в то время у глуповцев была каждый день масленица), когда весть о бедствии, угрожавшем Глупову, дошла до него. По-видимому, он ничего не подозревал. Весело шутя с предводительшей, он рассказывал ей, что в скором времени ожидается такая выкройка дамских платьев, что можно будет по прямой линии видеть паркет, на котором стоит женщина. Потом завел речь о прелестях уединенной жизни и вскользь

заявил, что он и сам надеется когда-нибудь найти отдохновение в стенах монастыря.

– Конечно, женского? – спросила предводительша, лукаво улыбаясь.

– Если вы изволите быть в нем настоятельницей, то я хоть сейчас готов дать обет послушания, – галантерейно отвечал Грустилов.

Но этому вечеру суждено было провести глубокую демаркационную черту<sup>[109]</sup> во внутренней политике Грустилова. Бал разгорался; танцующие кружились неистово; в вихре развевающихся платьев и локонов мелькали белые, обнаженные, душистые плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазия Грустилова умчалась наконец в надзвездный мир, куда он по очереди переселил вместе с собою всех этих полуобнаженных богинь, которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однако ж, и в надзвездном мире сделалось душно; тогда он удалился в уединенную комнату и, усевшись среди зелени померанцев и миртов, впал в забытьё.

В эту самую минуту перед ним явилась маска и положила ему на плечо свою руку. Он сразу понял, что это – *она*. Она так тихо подошла к нему, как будто под атласным домино, довольно, впрочем, явственно обличавшем ее воздушные формы, скрывалась не женщина, а сифф. По плечам рассыпались русые, почти пепельные кудри, из-под маски глядели голубые глаза, а обнаженный подбородок обнаруживал существование ямочки, в которой, казалось, свил свое гнездо амур. Все в ней было полно какого-то скромного и в то же время не безрасчетного изящества, начиная от духов *violettes de Parmes*<sup>[110]</sup>, которым опрыскан был ее платок, и кончая щегольской перчаткой, обтягивавшей ее маленькую, аристократическую ручку. Очевидно, однако ж, что она находилась в волнении, потому что грудь ее трепетно поднималась, а голос, напоминавший райскую музыку, слегка дрожал.

– Проснись, падший брат! – сказала она Грустилову.

Грустилов не понял; он думал, что ей представилось, будто он спит, и в доказательство, что это ошибка, стал простирать руки.

– Не о теле, а о душе говорю я! – грустно продолжала маска, – не тело, а душа спит... глубоко спит!

Тут только понял Грустилов, в чем дело, но так как душа его закоsnела в идолопоклонстве, то слово истины, конечно, не могло

сразу проникнуть в нее. Он даже заподозрил в первую минуту, что под маской скрывается юродивая Аксиньюшка, та самая, которая, еще при Фердыщенко, предсказала большой глуповский пожар и которая во время отпадения глуповцев в идолопоклонстве одна осталась верною истинному богу.

– Нет, я не та, которую ты во мне подозреваешь, – продолжала между тем таинственная незнакомка, как бы угадав его мысли, – я не Аксиньюшка, ибо недостойна облобызать даже прах ее ног. Я просто такая же грешница, как и ты!

С этими словами она сняла с лица своего маску.

Грустилов был поражен. Перед ним было прелестнейшее женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видеть. Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном городе Гамбурге, но это было так давно, что прошлое казалось как бы задернутым пеленою. Да, это именно те самые пепельные кудри, та самая матовая белизна лица, те самые голубые глаза, тот самый полный и трепещущий бюст; но как все это преобразилось в новой обстановке, как выступило вперед лучшими, интереснейшими своими сторонами! Но еще более поразило Грустилова, что незнакомка с такою прозорливостью угадала его предположение об Аксиньюшке...

– Я – твое внутреннее слово! я послана объявить тебе свет Фавора<sup>[111]</sup>, которого ты ищешь, сам того не зная! – продолжала между тем незнакомка, – но не спрашивай, кто меня послал, потому что я и сама объявить о сем не умею!

– Но кто же ты? – вскричал встревоженный Грустилов.

– Я та самая юродивая дева, которую ты видел с потухшим светильником в вольном городе Гамбурге! Долгое время находилась я в состоянии томления, долгое время безуспешно стремилась к свету, но князь тьмы слишком искусен, чтобы разом упустить из рук свою жертву! Однако *там* мой путь уже был начертан! Явился здешний аптекарь Пфейфер и, вступив со мной в брак, увлек меня в Глупов; здесь я познакомилась с Аксиньюшкой – и задача просветления обозначилась передо мной так ясно, что восторг овладел всем существом моим. Но если бы ты знал, как жестока была борьба!

Она остановилась, подавленная скорбными воспоминаниями; он же алчно простирал руки, как бы желая осязать это непостижимое существо.



– Прими руки! – кротко сказала она, – не осязанием, но мыслью ты должен прикасаться ко мне, чтобы выслушать то, что я должна тебе открыть!

– Но не лучше ли будет, ежели мы удалимся в комнату более уединенную? – спросил он робко, как бы сам сомневаясь в приличии своего вопроса.

Однако ж она согласилась, и они удалились в один из тех очаровательных приютов, которые со времен Микаладзе устраивались для градоначальников во всех мало-мальски порядочных домах города Глупова. Что происходило между ними – это для всех осталось тайною; но он вышел из приюта расстроенный и с заплаканными глазами. *Внутреннее слово* подействовало так сильно, что он даже не удостоил танцующих взглядом и прямо отправился домой.

Происшествие это произвело сильное впечатление на глуповцев. Стали доискиваться, откуда явилась Пфейферша. Одни говорили, что она не более как интриганка; которая с ведома мужа задумала овладеть Грустиловым, чтобы вытеснить из города аптекаря Зальцфиша, делавшего Пфейферу сильную конкуренцию. Другие утверждали, что Пфейферша еще в вольном городе Гамбурге полюбила Грустилова за его меланхолический вид и вышла замуж за Пфейфера единственно затем, чтобы соединиться с Грустиловым и сосредоточить на себе ту чувствительность, которую он бесполезно растрчивал на такие пустые зрелища, как токованье тетеревов и кокоток.

Как бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина далеко не дюжинная. Из оставшейся после нее переписки видно, что она находилась в сношениях со всеми знаменитейшими мистиками и пиетистами<sup>[112]</sup> того времени и что Лабзин, например, посвящал ей те избраннейшие свои сочинения, которые не предназначались для печати. Сверх того, она написала несколько романов, из которых в одном, под названием «Скиталица Доротея», изобразила себя в наилучшем свете. «Она была привлекательна на вид, – писалось в этом романе о героине, – но хотя многие мужчины желали ее ласк, она оставалась холодною и как бы загадочною. Тем не менее душа ее жаждала непрестанно, и когда в этих поисках встретила с одним знаменитым химиком (так называла она Пфейфера), то прилепилась к

нему бесконечно. Но при первом же земном ощущении она поняла, что жажда ее не удовлетворена...» и т. д.

Возвратившись домой, Грустилов целую ночь плакал. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти. Были тут и кокотки, и кокодессы, и даже тетерева – и всё огненные. Один из чертей вылез из бездны и поднес ему любимое его кушанье, но едва он прикоснулся к нему устами, как по комнате распространился смрад. Но что всего более ужасало его – так это горькая уверенность, что не один он погряз, но в лице его погряз и весь Глупов.

– За всех ответить или всех спасти! – кричал он, цепenea от страха, – и, конечно, решился спасти.

На другой день, ранним утром, глуповцы были изумлены, услышав мерный звон колокола, призывавший жителей к заутрене. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что глуповцы даже забыли о нем. Многие думали, что где-нибудь горит; но вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Без шапки, в разодранном вицмундире, с опущенной долу головой и бия себя в перси<sup>[113]</sup>, шел Грустилов впереди процессии, состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской и пожарной команды. Сзади процессии следовала Пфейферша, без кринолина; с одной стороны ее конвоировала Аксиныюшка, с другой – знаменитый юродивый Парамоша, заменивший в любви глуповцев не менее знаменитого Архипушку, который сгорел таким трагическим образом в общий пожар (см. «Соломенный город»).

Отслушав заутреню, Грустилов вышел из церкви ободренный и, указывая Пфейферше на вытянувшихся в струнку пожарных и полицейских солдат («кои и во время глуповского беспутства втайне истинному богу верны пребывали», – присовокупляет летописец), сказал:

– Видя внезапное сих людей усердие, я в точности познал, сколь быстрое имеет действие сия вещь, которую вы, сударыня моя, внутренним словом справедливо именуете.

И потом, обращаясь к квартальным, прибавил:

– Дайте сим людям за их усердие по гривеннику!

– Рады стараться, ваше высокородие! – гаркнули в один голос полицейские и скорым шагом направились в кабак.

Таково было первое действие Грустилова после внезапного его обновления. Затем он отправился к Аксиныюшке, так как без ее нравственной поддержки никакого успеха в дальнейшем ходе дела ожидать было невозможно. Аксиныюшка жила на самом краю города, в какой-то землянке, которая скорее похожа была на кротовую нору, нежели на человеческое жилище. С ней же, в нравственном сожитии, находился и блаженный Парамоша. Сопровождаемый Пфейфершей, Грустилов ощупью спустился по темной лестнице вниз и едва мог нащупать дверь. Зрелище, представившееся глазам его, было поразительное. На грязном голом полу валялись два полуобнаженные человеческие остова (это были сами блаженные, уже успевшие возвратиться с богомолья), которые бормотали и выкрикивали какие-то бессвязные слова и в то же время вздрагивали, кривлялись и корчились, словно в лихорадке. Мутный свет проходил в нору сквозь единственное крошечное окошко, покрытое слоем пыли и паутины; на стенах слоилась сырость и плесень. Запах был до того отвратительный, что Грустилов в первую минуту сконфузился и зажал нос. Прозорливая старушка заметила это.

– Духи царские! духи райские! – запела она пронзительным голосом, – не надо ли кому духов?

И сделала при этом такое движение, что Грустилов, наверное, поколебался бы, если б Пфейферша не поддержала его.

– Спит душа твоя... спит глубоко! – сказала она строго, – а еще так недавно ты хвалился своей бодростью!

– Спит душенька на подушечке... спит душенька на перинушке... а боженька тук-тук! да по головке тук-тук! да по темечку тук-тук! – визжала блаженная, бросая в Грустилова щепками, землю и сором.

Парамоша лаял по-собачьи и кричал по-петушиному.

– Брысь, сатана! петух запел! – бормотал он в промежутках.

– Маловерный! Вспомни внутреннее слово! – настаивала с своей стороны Пфейферша.

Грустилов ободрился.

– Матушка, Аксинья Егоровна! извольте меня разрешить! – сказал он твердым голосом.

– Я и Егоровна, я и тараторовна! Ярило – мерзило! Волос – без волос! Перун – старый... Парамон – он умен! – провизжала блаженная, скорчилась и умолкла.

Грустилов озирался в недоумении.

– Это значит, что следует поклониться Парамону Мелентьичу! – подсказала Пфейферша.

– Батюшка, Парамон Мелентьич! извольте меня разрешить! – поклонился Грустилов.

Но Парамоша некоторое время только корчился и икал.

– Ниже! ниже поклонись! – командовала блаженная, – не жалея спины-то! не твоя спина – божья!

– Извольте меня, батюшка, разрешить! – повторил Грустилов, кланяясь ниже.

– Без працы не бенды кололацы! – пробормотал блаженный диким голосом – и вдруг вскочил.

Немедленно вслед за ним вскочила и Аксиныюшка, и начали они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхлипывали; потом круги начали делаться быстрее и быстрее, покуда наконец не перешли в совершенный вихрь. Послышался хохот, визг, трели, всхлебывания, подобные тем, которые можно слышать только весной в пруду, дающем приют мириадам лягушек.

Грустилов и Пфейферша стояли некоторое время в ужасе, но наконец не выдержали. Сначала они вздрагивали и приседали, потом постепенно начали кружиться и вдруг завихрились и захохотали. Это означало, что наитие совершилось и просимое разрешение получено.

Грустилов возвратился домой усталый до изнеможения; однако ж он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы подписать распоряжение о наипоспешнейшей высылке из города аптекаря Зальцфиша. Верные ликовали, а причетники, в течение многих лет питавшиеся одними негодными злаками, закололи барана и мало того что съели его всего, не пощадив даже копыт, но долгое время скребли ножом стол, на котором лежало мясо, и с жадностью ели стружки, как бы опасаясь утратить хотя один атом питательного вещества. В тот же день Грустилов надел на себя вериги (впоследствии оказалось, впрочем, что это были просто помочи, которые дотоле не были в Глупове в употреблении) и подвергнул свое тело бичеванию.

«В первый раз сегодня я понял, – писал он по этому случаю Пфейферше, – что значит слова: *всладце уязви мя*, которые вы сказали мне при первом свидании, дорогая сестра моя по духу! Сначала бичевал я себя с некоторою уклончивостью, но, постепенно

разгораясь, позвал под конец денщика и сказал ему: «Хлещи!» И что же? даже сие оказалось недостаточным, так что я вынужденным нашелся расковырять себе на невидном месте рану, но и от того не страдал, а находился в восхищении. Отнюдь не больно! Столь меня сие удивило, что я и доселе спрашиваю себя: полно, страдание ли это, и не скрывается ли здесь какой-либо особый вид плотоугодничества и самовосхищения? Жду вас к себе, дорогая сестра моя по духу, дабы разрешить сей вопрос в совокупном рассмотрении».

Может показаться странным, каким образом Грустилов, будучи одним из гривуазнейших поклонников мамоны, столь быстро обратился в аскета. На это могу сказать одно: кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже более, чем нужно. Так, например, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в спине у секомого зарыт клад<sup>[114]</sup>. Если факты, до такой степени диковинные, не возбуждают ни в ком недоверия, то можно ли удивляться превращению столь обыкновенному, как то, которое случилось с Грустиловым?

Но, с другой стороны, этот же факт объясняется и иным путем, более естественным. Есть указания, которые заставляют думать, что аскетизм Грустилова был совсем не так суров, как это можно предполагать с первого взгляда. Мы уже видели, что так называемые вериги его были не более как помочи; из дальнейших же объяснений летописца усматривается, что и прочие подвиги были весьма преувеличены Грустиловым и что они в значительной степени сдобривались духовною любовью. Шелеп, которым он бичевал себя, был бархатный (он и доселе хранится в глуповском архиве); пост же состоял в том, что он к прежним кушаньям прибавил рыбу тюрбо<sup>[115]</sup>, которую выписывал из Парижа на счет обывателей. Что же тут удивительного, что бичевание приводило его в восторг и что самые язвы казались восхитительными?

Между тем колокол продолжал в урочное время призывать к молитве, и число верных с каждым днем увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя на них, стали ходить и посторонние. Грустилов, с своей стороны, подавал пример истинного

благочестия, плюя на капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него. Может быть, так и разрешилось бы это дело исподволь, если б мирному исходу его не помешали замыслы некоторых беспокойных честолюбцев, которые уже и в то время были известны под именем «крайних».

Во главе партии состояли те же Аксиныюшка и Парамоша, имея за собой целую толпу нищих и калек. У нищих единственным источником пропитания было прошение милостыни на церковных папертях; но так как древнее благочестие в Глупове на некоторое время прекратилось, то естественно, что источник этот значительно оскудел. Реформы, затеянные Грустиловым, были встречены со стороны их громким сочувствием; густою толпою убогие люди наполняли двор градоначальнического дома; одни ковыляли на деревяшках, другие ползали на четверинках. Все славословили, но в то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление совершилось сию минуту и чтоб наблюдение за этим делом было возложено на них. И тут, как всегда, голод оказался плохим советчиком, а медленные, но твердые и дальновидные действия градоначальника подверглись превратным толкованиям. Напрасно льстил Грустилов страстям калек, высылая им остатки от своей обильной трапезы; напрасно объяснял он выборным от убогих людей, что постепенность не есть потворство, а лишь вящее упрочение затеянного предприятия, – калеки ничего не хотели слышать. Гневно потрясали они своими деревяшками и громко угрожали поднять знамя бунта.

Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы усмирять убогих людей, необходимо иметь гораздо больший запас храбрости, нежели для того, чтобы палить в людей, не имеющих изъянов. Грустилов понимал это. Сверх того, он уже потому чувствовал себя беззащитным перед демагогами, что последние, так сказать, считали его своим созданием и в этом смысле действовали до крайности ловко. Во-первых, они окружили себя целою сетью доносов, посредством которых до сведения Грустилова доводился всякий слух, к посрамлению его чести относящийся; во-вторых, они заинтересовали в свою пользу Пфейфершу, посулив ей часть так называемого посумного сбора (этим сбором облагалась каждая

нищенская сумá; впоследствии он лег в основание всей финансовой системы города Глупова).

Пфейферша денно и ночью приставала к Грустилову, в особенности преследуя его перепискою, которая, несмотря на короткое время, представляла уже в объеме довольно обширный том. Основание ее писем составляли видения, содержание которых изменялось, смотря по тому, довольна или недовольна она была своим «духовным братом». В одном письме она видит его «ходящим по облаку» и утверждает, что не только она, но и Пфейфер это видел; в другом усматривает его в геенне огненной, в сообществе с чертями всевозможных наименований. В одном письме развивает мысль, что градоначальники вообще имеют право на безусловное блаженство в загробной жизни, по тому одному, что они градоначальники; в другом утверждает, что градоначальники обязаны обращать на свое поведение особенное внимание, так как в загробной жизни они против всякого другого подвергаются истязаниям вдвое и втрое. Все равно как папы или князья.

В данном случае письма ее имели характер угрожающий. «Спешу известить вас, – писала она в одном из них, – что я в сию ночь во сне видела. Стоите вы в темном и смрадном месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змий и на груди (у вас) доска, на которой написано: «Сей есть ведомый покровитель нечестивых и агарян»<sup>[116]</sup> (sic). И бесы, собравшись, радуются, а праведные стоят в отдалении и, взирая на вас, льют слезы. Извольте сами рассмотреть, не видится ли тут какого не совсем выгодного для вас предзнаменования?»

Читая эти письма, Грустилов приходил в необычайное волнение. С одной стороны, природная склонность к апатии, с другой, страх чертей – все это производило в его голове какой-то неслыханный сумбур, среди которого он путался в самых противоречивых предположениях и мероприятиях. Одно казалось ясным: что он тогда только будет благополучен, когда глуповцы поголовно станут ходить ко всенощной и когда инспектором-наблюдателем всех глуповских училищ будет назначен Парамоша.

Это последнее условие было в особенности важно, и убогие люди предъявляли его очень настойчиво. Развращение нравов дошло до того, что глуповцы посягнули проникнуть в тайну построения миров и открыто рукоплескали учителю каллиграфии, который, выйдя из

пределов своей специальности, проповедовал с кафедры, что мир не мог быть сотворен в шесть дней. Убогие очень основательно рассчитали, что если это мнение утвердится, то вместе с тем разом рухнет все плуповское мирозерцание вообще. Все части этого мирозерцания так крепко цеплялись друг за друга, что невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. Не вопрос о порядке сотворения мира тут важен, а то, что вместе с этим вопросом могло вторгнуться в жизнь какое-то совсем новое начало, которое, наверное, должно было испортить всю кашу. Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что плуповская жизнь поражала их своей цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования. Если плуповцы с твердостью переносили бедствия самые ужасные, если они и после того продолжали жить, то они обязаны были этим только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им чем-то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым. Самое крайнее, что позволялось ввиду идущей навстречу беды, – это прижаться куда-нибудь к сторонке, затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет кутить и мутить. Но и это уже считалось строптивостью; бороться же или открыто идти против беды – упаси боже! Стало быть, если допустить плуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого (см. выше рассказ «Органчик»)? А так как вопрос этот длинный, а руки у них короткие, то очевидно, что существование вопроса только поколеблет их твердость в бедствиях, но в положении существенного улучшения все-таки не сделает.

Но покуда Грустилов колебался, убогие люди решились действовать самостоятельно. Они ворвались в квартиру учителя каллиграфии Линкина, произвели в ней обыск и нашли книгу: «Средства для истребления блох, клопов и других насекомых». С торжеством вытолкали они Линкина на улицу и, потрясая воздух радостными восклицаниями, повели его на градоначальнический двор. Грустилов сначала растерялся и, рассмотрев книгу, начал было объяснять, что она ничего не заключает в себе ни против религии, ни



против нравственности, ни даже против общественного спокойствия. Но нищие ничего уже не слушали.

– Плохо ты, верно, читал! – дерзко кричали они градоначальнику и подняли такой гвалт, что Грустилов испугался и рассудил, что благоразумие повелевает уступить требованиям общественного мнения.

– Сам ли ты зловредную оную книгу сочинил? а ежели не сам, то кто тот заведомый вор и сущий разбойник, который таковое злодейство учинил? и как ты с тем воров знакомство свел? и от него ли ту книжицу получил? и ежели от него, то зачем, кому следует, о том не объявил, но, забыв совесть, распутству его потакал и подражал? – так начал Грустилов свой допрос Линкину.

– Ни сам я тоя книжицы не сочинял, ни сочинителя оной в глаза не видывал, а напечатана она в столичном городе Москве в университетской типографии, иждивением книгопродавцев Манухиных! – твердо отвечал Линкин.

Толпе этот ответ не понравился, да и вообще она ожидала не того. Ей казалось, что Грустилов, как только приведут к нему Линкина, разорвет его пополам – и дело с концом. А он вместо того разговаривает! Поэтому, едва градоначальник разинул рот, чтоб предложить второй вопросный пункт, как толпа загудела:

– Что ты с ним балы-то точишь! он в бога не верит!

Тогда Грустилов в ужасе разодрал на себе вицмундир.

– Точно ли ты в бога не веришь? – подскочил он к Линкину и, по важности обвинения, не выждав ответа, слегка ударил его, в виде задатка, по щеке.

– Никому я о сем не объявлял, – уклонился Линкин от прямого ответа.

– Свидетели есть! свидетели! – гремела толпа.

Выступили вперед два свидетеля: отставной солдат Карапузов да слепенькая нищенка Маремьянушка. «И было тем свидетелям дано за ложное показание по пятаку серебром», – говорит летописец, который в этом случае явно становится на сторону угнетенного Линкина.

– Намеднись, а когда именно – не упомню, – свидетельствовал Карапузов, – сидел я в кабаке и пил вино, а неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино. И, выпивши он того вина

довольно, сказал: «Все мы, что человеки, что скоты, – все едино; все помрем и все к чертовой матери пойдём!»

– Но когда же... – заикнулся было Линкин.

– Стой! Ты погоди пасть-то разевать! пушай сперва свидетель доскажет! – крикнула на него толпа.

– И будучи я приведен от тех его слов в соблазн, – продолжал Карапузов, – кротким манером сказал ему: «Как же, мол, это так, ваше благородие? ужели, мол, что человек, что скотина – все едино? и за что, мол, вы так нас порочите, что и места другого, кроме как у чертовой матери, для нас не нашли? Батюшки, мол, наши духовные не тому нас учили, – вот что!» Ну, он это взглянул на меня этак ссыскаса: «Ты, говорит, колченогий (а у меня, ваше высокородие, точно что под Очаковым ногу унесло), в полиции, видно, служишь?» – взял шапку и вышел из кабака вон.

Линкин разинул рот, но это только пуще раздражило толпу.

– Да зажми ты ему пасть-то! – кричала она Грустилову, – ишь речистый какой выискался!

Карапузова сменила Маремьянушка.

– Сижу я намеднись в питейном, – свидетельствовала она, – и тошно мне, слепенькой, стало; сижу этак-то и все думаю: куда, мол, нонче народ против прежнего гордее стал! Бога забыли, в посты скоромное едят, нищих не одевают; смотри, мол, скоро и на солнышко прямо смотреть станут! Право. Только и подходит ко мне самый этот молодец: «Слепа, бабушка?» – говорит. «Слепенькая, мол, ваше высокое благородие». – «А отчего, мол, ты слепа?» – «От бога, говорю, ваше высокое благородие». – «Какой тут бог, от воспы, чай?» – это он-то все говорит. «А воспа-то, говорю, от кого же?» – «Ну да, от бога, держи карман! Вы, говорит, в сырости да в нечистоте всю жизнь копаетесь, а бог виноват!»

Маремьянушка остановилась и заплакала.

– И так это меня обидело, – продолжала она, всхлипывая, – уж и не знаю как! «За что же, мол, ты бога-то обидел?» – говорю я ему. А он не то чтобы что, плюнул мне прямо в глаза: «Утрись, говорит, может, будешь видеть», – и был таков.

Обстоятельства дела выяснились вполне; но так как Линкин непременно требовал, чтобы была выслушана речь его защитника, то Грустилов должен был скрепя сердце исполнить его требование. И

точно: вышел из толпы какой-то отставной подьячий и стал говорить. Сначала говорил он довольно невнятно, но потом вник в предмет, и, к общему удивлению, вместо того чтобы защищать, стал обвинять. Это до того подействовало на Линкина, что он сейчас же не только сознался во всем, но даже много прибавил такого, чего никогда и не бывало.

– Смотрел я однажды у пруда на лягушек, – говорил он, – и был смущен диаволом. И начал себя бездельным обычаем спрашивать, точно ли один человек обладает душою, и нет ли таковой у гадов земных! И, взяв лягушку, исследовал. И по исследовании нашел: точно; душа есть и у лягушки, токмо малая видом и не бессмертная.

Тогда Грустилов обратился к убогим и, сказав: «Сами видите!» – приказал отвести Линкина в часть.

К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории. В переписке же Пфейферши сохранились лишь следующие строки об этом деле: «Вы, мужчины, очень счастливы; вы можете быть твердыми; но на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что Пфейфер не на шутку встревожился и поскорей дал мне принять успокоительных капель». И только.

Но происшествие это было важно в том отношении, что если прежде у Грустилова еще были кое-какие сомнения насчет предстоящего ему образа действия, то с этой минуты они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил Парамошу инспектором глуповских училищ, а другому юродивому, Яшеньке, предоставил кафедру философии, которую нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно принялся за сочинение трактата: «О восхищениях благочестивой души».

В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваем. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все манеры: и во вся, и в одиночку, и с перезвоном. Капища запустели; идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала представления девица Гандон, сожгли. Затем по всем улицам накурили смирною и ливаном<sup>[117]</sup>, и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена.

Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному.

Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии – бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что «как-никак, а придется в поле с сохой выйти», но дерзкого едва не побили камнями и в ответ на его предложение утроили усердие.

Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька, с своей стороны, учил, что сей мир, который мы думаем очима своима видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере надобности, спускаются долу, дабы оное сонное видение вскорости увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благоспешно взлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись<sup>[118]</sup> и 3) следует возлагать упование и созерцать – и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего, – говорил он, – уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устрями взоры на пупок».

Аксиньюшка тоже не плошала, но была в баклуши неумомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт водил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки, то есть, что работать не следует, а следует созерцать. «И, главное, подавать нищим, потому что нищие не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти», – присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глумовские копейки дождем сыпались в ее карманы, и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитал. Да и нельзя было не давать ей, потому что она

всякому, не подающему милостыни, без церемонии плевала в глаза и вместо извинения говорила только: «Не взыщи!»

Но представителей местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внешним образом, но настоящего уязвления не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили смердам: «Смотрите! и мы не гнушаемся общения с вами!», но, в сущности, мысль их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма и пресыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то «восхищений». К сожалению, Грустилов первый пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд<sup>[119]</sup>. Тут сначала читали критические статьи г. Н. Страхова, но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться; примеру его следовали другие; потом мало-помалу все начинали скакать, кружиться, петь и кричать и производили эти неистовства до тех пор, покада, совершенно измученные, не падали ниц. Этот момент, собственно, и назывался «восхищением».

Мог ли продолжаться такой жизненный устанок и сколько времени? – определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время аскетизма; но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастья народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими, менее питательными веществами; но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом, а буде и хлеба недостаточно, то и лебедою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная

глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным.

Дело в том, что в Глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий, штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во времена политеизма, на именинном пироге у Грустилова всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру, – разумеется, без ведома хозяина, – досталась уха из окуней. Гость проплотил обиду («только ложка в руке его задрожала», – говорит летописец), но в душе поклялся отомстить. Начались контры; сначала борьба велась глухо, но потом чем дальше, тем разгоралась все пуще и пуще. Вопрос об ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического <sup>[120]</sup> свойства, так что когда штаб-офицеру из учтивости предложили присутствовать при «восхищениях», то он наотрез отказался.

И был тот штаб-офицер доноситель...

Несмотря на то что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова – ничто не укрылось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот эта вожделенная минута наконец наступила: ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги: «О восхищениях благочестивой души»...

В одну из ночей кавалеры и дамы глуповские, по обыкновению, собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начинали слегка вздрагивать; но едва Грустилов в качестве председателя собрания начал приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектаторы <sup>[121]</sup> ко всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства... Но было уже поздно.

У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор...

Но что это был за взор... О господи! что это был за взор!..

## Подтверждение покаяния. Заключение

Он был ужасен.

Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался: «Идет некто за мной, – говорил он, – который будет еще ужаснее меня».

Он был ужасен; но, сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжь. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом... То был взор, светлый как сталь, взор, совершенно свободный от мысли и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость – и ничего более.

Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, – вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» не шло

далее всеобщего равенства перед шпицрутенем<sup>[122]</sup>; его представление о «простоте» не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью оболъщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» – вот единственное слово, которым он выражал движения своей души.

Вовремя посторониться – вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района – можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно и в первое время, по примеру всех начальствлюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые, словно сетью, охватили существование обывателей, отсюда же – далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюм-Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, – и трепетные губы их шептали: «Сатана!»

Сам летописец, вообще довольно благосклонный к градоначальникам, не может скрыть смутного чувства страха, приступая к описанию действий Угрюм-Бурчеева. «Была в то время, – так начинает он свое повествование, – в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона с повелительно простертою вперед рукою и с мутным



взором, устремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие: повелительный жест, – и затем, сосредоточившись само в себе, перешло в окаменение. Но что весьма достойно примечания: как ни ужасны пытки и мучения, в изобилии по всей картине рассеянные, и как ни удручают душу кривлянья и судороги злодеев, для коих те муки приурочены, но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятливым оком взирать может». Таково начало летописного рассказа, и хотя далее следует перерыв и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь недаром.

В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опущенные подстриженной щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухошавая, с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченной вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкинским «Устав о неуклонном сечении», но, по-видимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом – пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху вместо неба нависла серая солдатская шинель...

Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта – совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений...

Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только *простых* идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданною жизнь... Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрасил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития?

Вот это-то отверженное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице

его не видно никаких вопросов, напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? – это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпяченную вперед на манер колеса. Ничего не известно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх.

Самый образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностью. Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьих жилы. В заключение по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам («причем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов», – прибавляет летописец).

Было у него и семейство; но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома и что он самолично раз в день, через железную решетку, подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей; сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх, но потом обручнели и с такою зверскою жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух.

Рассказывали, что возвышением своим Угрюм-Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслию, что никто из подчиненных не любит его.

– Любим, вашество! – уверяли подчиненные.

– Все вы так на досуге говорите, – настаивал на своем начальник, – а дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует.

Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич.

– Кто хочет доказать, что любит меня, – глашал он, – тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей!

Никто, однако ж, на клич не спешил; одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца сопряжено с болью; другие не выходили по недоразумению: не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и, опасаясь, чтоб их не сочли за бунтовщиков, по обычаю, во весь рот зевали: «Рады стараться, ваше-е-ество-о!»

– Кто хочет доказать? выходи! не бойся! – повторил свой клич ревнивый начальник.

Но и на этот раз ответом было молчание или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло.

– Сви...

Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутенами прохвост и велиим голосом возопил:

– Я хочу доказать!

С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его.

Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое.

Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок; но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея...

При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление.

– Ты меня возлюбил, – воскликнул он, – а я тебя возлюблю сторицею!

И послал его в Глупов.

В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивеляторах<sup>[123]</sup> вообще. Тем не менее нивеляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивеляторы «хождения в струне», нивеляторы «бараньего рога», нивеляторы «ежовых рукавиц» и проч. и проч. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека, ради сравнения с сверстниками, лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особого благополучия от сего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно и даже необходимо. Сами нивеляторы отнюдь не подозревали, что они – нивеляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастье подчиненных и подвластных им лиц...

Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего.

Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивеляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременно расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни назад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? – утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и не изъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивеляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали в простоте души единственно по

инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая – ему нечего было делать с краткостью, – а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Virtuозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли... Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало, – всё без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, всё шли, всё шли...

Еще задолго до прибытия в Глупов он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.

Посредине – площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал – и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка – словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины – не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна,

выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других – исключительно малорослые или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются не обещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, – размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: присутственные места и всевозможные манежи – для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них – писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется Праздником Неуклонности и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой – осенью, называется Праздником Предержащих Властей и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как *поселенная единица*, имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название *взвода*. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот – полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно *Город*, который из Глупова переименовывается в «вечно достойная памяти великого князя Святослава Игоревича город *Непреклонск*». Над городом парит окруженный облаком градоначальник или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!!

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облакаются в единообразные одежды (по особым, апробованным<sup>[124]</sup> градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи, выстраиваются на площади в каре и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю – всё по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и



выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый потом, весь преисполненный казарменным запахом, и затыгивает:

Раз – первой! раз – другой! —

а за ним все работающие подхватывают:

Ухнем!  
Дубинушка, ухнем!

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: «Шабаш!» Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через «манеж для принятия пищи» и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закату всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон...

Ни бога, ни идолов – ничего...

В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивеляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, – вот сущность этой кантонистской<sup>[125]</sup> фантазии...

Тем не менее когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с

удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки – все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? Что скрывает она?

– Ка-за-р-рмы! – совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.

– Казар-р-мы! – в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем...

Управившись с Грустиловым и разогнав безумное скопище, Угрюм-Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда.

Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? «Создавать» – это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил.

На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин – ничто не остановило его. Ему было ясно одно: что перед глазами его дремучий лес и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность,

Угрюм-Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное.

Он позабыл... он ничего подобного не предвидел... До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска<sup>[126]</sup>. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но, несомненно, живые звуки. Она жила.

– Кто тут? – спросил он в ужасе.

Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: «Хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрей твоего будет». Да; это был тоже бред, или, лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда: один, созданный лично Угрюм-Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого.

– Зачем? – спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения.

Квартальные не поняли; но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.

– Река-с... навоз-с... – лепетали они как попало.

– Зачем? – повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.

Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:

– Уйму! я ее уйму!

Дома он через минуту уже решил дело по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему: разрушить город и

устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее; средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его.

Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которой можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которому они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать: от сих мест до сих – и на протяжении отмеренного пространства наверное возникнет материк, а затем по-прежнему, и направо и налево, будет продолжать течь река.

Остановившись на этой мысли, он начал готовиться.

В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотья и произносил:

– Зачем?

И, снова впавши в задумчивость, продолжал путь далее.

Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городом.

Город приник; в воздухе чувствовались спертость и духота.

Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел *конец*. В этом убеждало непрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну; в этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Незримо ни для кого прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте и в мучительном беспокойстве кружились в одном и том же волшебном круге, которого центром был *он*. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехотя исполняли они необходимые

житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? – вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущия? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании...

Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались; вытянувшись и затаивши дыхание, они становились на линии, по которой *он* проходил, и ждали, не будет ли приказаний; но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостоивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда: ни милостивого, ни немилостивого, ни скорого, ни нескорого. На первых порах глуповцы, по старой привычке, вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга, но он даже не понял их.

– Зачем? – говорил он, с каким-то диким изумлением обозревая жалобщика с головы до ног.

В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет.

Наконец страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так: сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой.

За неделю до Петрова дня он объявил приказ: всем говеть. Хотя глуповцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный приказ Угрюм-Бурчеева, смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро, для принятия этого решительного, потребны такие приготовления? Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что *он* будет палить, но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно палили в обывателей, убедились, что пушки стоят незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная «выемка», и стали готовиться к ней:

прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы – одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь «оказательство».

– Кто его знает, какой он веры? – шептались промеж себя глуповцы, – может, и фармазон?

А он все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны.

В Петров день все причастились, а многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания, «больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое». Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли; но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок в горло, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник (он в этот день ходил форсированным маршем), то поспешно отирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось: вот увидят начальники нашу невинность и простят...

Но Угрюм-Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил.

«30-го июня, – повествует летописец, – на другой день празднованья памяти святых и славных апостолов Петра и Павла был сделан первый приступ к сломке города». Градоначальник, с топором в руке, первый выбежал из своего дома и как озаренный бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды (в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и особый шпион), они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Раздался стук топора и визг пилы; воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен; пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были налицо, все до единого: взрослые и сильные рубили и ломали; малолетние и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли это наяву происходит. Они сознавали только одно: что конец наступил и

что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, а в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды, в минуту безумной отваги, скомандовал им: «Ломай!» Но ведь тогда все-таки была война, а теперь... без всякого повода... среди глубокого земского мира...

Угрюм-Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он, в порыве начальствования, отрубил себе указательный палец правой руки. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения. Он рассортировывал жителей по росту и телосложению; он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими; он раскассировывал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства; он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и т. д. Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все начеку, все кипит, все готово вынырнуть во всеоружии; остаются подробности, но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста и уносила его далеко, далеко.

В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светила небесные, и, казалось, это зрелище приводило его в недоумение.

– Зачем? – бормотал он чуть слышно и долго-долго о чем-то думал и что-то соображал.

Что именно?

Через полтора или два месяца не оставалось уже камня на камне. Но по мере того как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело Угрюм-Бурчеева омрачалось. Рухнул последний, ближайший к реке дом; в последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась; по-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину, на далекое пространство заливаемую в весеннее время водой. Бред продолжался.

Громадные кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки.

Нахмуренный идиот бродил между грудями и вел им счет, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По временам он с уверенностью бормотал:

– Уйму! я ее уйму!

И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавши будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес:

– От сих мест – до сих!

Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтоб возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают.

– Гони! – скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на колышущуюся толпу.

Борьба с природой восприяла начало.

Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы Глупова сделались неистощимыми и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации.

Много было наезжих людей, которые разоряли Глупов: одни – ради шутки, другие – в минуту грусти, запальчивости или увлечения; но Угрюм-Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонною. Но слепая стихия шутя рвала и разметывала наносимый ценою нечеловеческих усилий хлам и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор – все уносилось быстринной в неведомую даль, и Угрюм-Бурчеев с удивлением, доходящим до испуга, следил «непонятливым» оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений.

Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Угрюм-Бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал:

– Гони!



Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и сослался на какие-то права.

– Гони! – скомандовал Угрюм-Бурчеев.

Толпа загоготала. Увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны, она почувствовала себя бодро и удвоила усилия.

Но тут встретилось новое затруднение: груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груды, на которую Угрюм-Бурчеев надеялся, как на каменную гору. Река задумалась, забуровила дно, но через мгновение потекла веселее прежнего.

Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло; река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне.

К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки изб и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, Угрюм-Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться.

– Тако да видят люди! – сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон; но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов:

– Гони!

Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздой и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, повертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, – вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...

То же произошло и с Угрюм-Бурчеевым. Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутенами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море – значит, есть и флоты: во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует; торговый – перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как-то: село Недоедово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий.

И что ж! – все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их.

Едва успев продрать глаза, Угрюм-Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по

течению, а река журчала и двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад.

Некоторое время Угрюм-Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною, сперва одна, потом другая, и еще, и еще... И все это куда-то стремится и где-то, должно быть, исчезает...

Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке.

– Напра-во круг-гом! за мной! – раздалась команда.

Он решился. Река не захотела уйти от него – он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылело ему. Там не повинуются стихии, там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег; там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать!

Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец к вечеру он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры – везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнезился в его голове...

– Здесь! – крикнул он ровным, беззвучным голосом.

Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползло на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано названия и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это «иное» появилось тогда в первый раз; нет, оно уже имело свою историю...

Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который, после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам, возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием: «Письма к другу о водворении на земле добродетели». Но так как биография этого Ионки составляет драгоценный материал для

истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями.

Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия (см. «Сказание о шести градоначальницах»), когда в течение семи дней шесть градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, он с изумительной для глуповца ловкостью перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднейшею поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираидки, потом – войска Клемантинки, Амальки, Нельки и наконец кормил крестьянскими лакомствами Дуньку Толстопятую и Матренку Ноздю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для Мальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запуская руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями.

Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер – никто ничего не знал об интригах Козыря, так что, когда приехал в Глупов подлинный градоначальник, Двоекуров, и началась разборка «оного нелепого и смеха достойного глуповского смятения», то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но, напротив того, оказалось, что это «подлинно достойнейший и благопоспешительнейший к подавлению революции гражданин».

Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги; во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал сто рублей для основания в городе академии; в-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона-богоприимца, ни Гликерии-девы (дней тезоименитства градоначальника и супруги его), но даже праздновал им дважды в год.

Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. «Водка, – говорилось в том указе, – не токмо не вселяет веселонравия, как многие полагают, но, при довольном

употреблении, даже отклоняет от одного и порождает страсть к убивству. Пиво же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо оно не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А потому советуем и приказываем: водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки; в прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов 1-й гильдии купца Семена Козыря отпускается». Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно, а «нужно-де мне, Козырю, вскорости в Петербурге быть, а тамо и ко двору явиться».

Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше благодаря влиянию ямщицхи Аленки, которая приходилась ему внучатной сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали возы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб «по такции», и ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправлял в часть.

Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с Домашкой Стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться; князя Орлова звал Гришей, а о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки, что он, Козырь, «много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли».

В одно прекрасное утро неожиданно-негаданно призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь:

– Правда ли, – говорил он, – что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова Гришкой величал и, ходючи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себе выдавал?

Козырь замялся.

– И на то у меня свидетели есть, – продолжал Фердыщенко таким тоном, который не позволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит.

Козырь побледнел.

– И я тот твой бездельный поступок по благодущию своему прощаю! – вновь начал Фердыщенко, – а которое ты имение награбил, и то имение твое отписываю я, бригадир, на себя. Ступай и молись богу.

И точно: в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить.

Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век и на закате дней вдруг почувствовал прилив «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Стал проповедовать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в царство небесное, а богатые да бражники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке (тогда было на этот счет просто: грабили, но правду выслушивали благодушно), прибавлял:

– Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим сатаной калеными угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем почивать буду.

Таков был первый глуповский демагог<sup>[127]</sup>.

Ионы Козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки приведет его по малой мере в негодование; но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту, и эту безучастность восполняла большою дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга «О водворении на земле добродетели» была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если б и другие тоже признавали себя добродетельными. Это была потребность его

мягкой, мечтательной природы; это же обуславливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность – вот идеалы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления.

Несмотря на свою расплывчивость, учение Козыря приобрело, однако ж, столько прозелитов<sup>[128]</sup> в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел нелишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу «О водворении на земле добродетели» и освидетельствовал ее; потом вытребовал и самого автора для освидетельствования.

– Чёл я твою, Ионкину, книгу, – сказал он, – и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзение.

Ионка казался изумленным. Бородавкин продолжал:

– Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про то позабыл, что добродетель не от себя, а от бога, и от бога же всякому человеку пристойное место указано.

Ионка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выводам.

– Ежели есть на свете клеветники, тати<sup>[129]</sup>, злодеи и душегубцы (о чем и в указах неотступно публикуется), – продолжал градоначальник, – то с чего же тебе, Ионке, на ум взбрело, чтоб им не быть? и кто тебе такую власть дал, чтобы всех сих людей от природных их званий отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смеха достойное место, тобою «раем» продерзостно именуемое, включить?

Ионка разинул было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его:

– Погоди. И ежели все люди «в раю» в песнях и плясках время препровождать будут, то кто же, по твоему, Ионкину, разумению, землю пахать станет? и вспахавши сеять? и посеявши жать? и, собравши плоды, оными господ дворян и прочих чинов людей довольствоваться и питаться?

Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв.

– Погоди. И за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудили тако: книгу твою, изодрав, растоптать

(говоря это, Бородавкин изодрал и растоптал), с тобой же самим, яко с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание, поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится.

Таким образом, Ионой Козырем начался мартиролог<sup>[130]</sup> глумовского либерализма.

Разговор этот происходил утром в праздничный день, а в полдень вывели Ионку на базар и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан (так как в числе последователей Козырева учения было много женщин), а на груди привесили дощечку с надписью: *бабник и прелюбодей*. В довершение всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что и исполнялось. К вечеру Ионки не стало.

Таков был первый дебют глумовского либерализма. Несмотря, однако ж, на неудачу, «дурные страсти» не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбною краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова, а слова те в том состояли, что «всем-де людям в еде равная потреба настоит, и кто-де ест много, пускай делится с тем, кто ест мало». «И, сидя на цепи, Ивашка умре», – прибавляет летописец. Другой пример случился при Микаладзе, который хотя был сам либерал, но, по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений. Во время его управления городом тридцать три философа были рассеяны по лицу земли за то, что «нелепым обычаем говорили: трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделия своего». Третий пример был при Беневоленском, когда был «подвергнут расспросным речам» дворянский сын Алешка Беспятов, за то, что в укору градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал: «Худы-де те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже «от расспросных речей да с испугу и с боли умре». После Беспятова либеральный мартиролог



временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы; Дю-Шарио же был и глуп и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов в первую половину своего градоначальствования не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением, к которому от природы имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Аксиньюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь воспринял начало в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что «все мы, что человеки, что скоты, – все помрем и все к чертовой матери пойдем». Вместе с Линкиным чуть было не попались впросак два знаменитейшие философа того времени, Фунич и Мерзицкий, но вовремя спохватились и начали вместе с Грустиловым присутствовать при «восхищениях» (см. «Поклонение мамоне и покаяние»). Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм, а потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством.

Восхищение начальством! что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность оным невосхищения! А отсюда до революции – один шаг!

Со вступлением в должность градоначальника Угрюм-Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи, выше меры, обременены телесными упражнениями, – говорит летописец, – глуповцы, с устатку, ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работой телес своих». Таким образом продолжалось все время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены...

Дело в том, что по окончательном устройстве города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю

переименования города из Глупова в Непрекклонск; во-вторых, последовал праздник в воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями; и, в-третьих, по случаю наступления осеннего времени сам собой подошел праздник «Предержащих Властей». Хотя, по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева, праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям вместо работ предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что, когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть: «Шабаш!» – как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов.

Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга – и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? – ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот бесславный прохвост! И все это глушило, грызло, рвало зубами – во имя чего? Грудь захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо отколь и с неисповедимую наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему...

А он между тем неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду; всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот – и ничего более.

Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение; теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его исполненный бесстыжества взор, делалось ясным, что это

«громадное», это «всепокоряющее» – не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ.

Как ни запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицын сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспения «неблагонадежных элементов». Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам и что при таком обороте жизнь делается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унижительным в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.

«Он» даст какое-то счастье! «Он» скажет им: «Я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми!» И они выслушают эту речь хладнокровно! они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!

А Угрюм-Бурчеев все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, он видел только одно: что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямою линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое и может ли это «живое» ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из «благонадежного» обратиться в «неблагонадежное» – все это не составляло для него даже вопроса...

Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены Угрюм-Бурчевым. Чистились, подтягивались, проходили

через все манежи, строились в каре, разводились по работам и проч. Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили непрерывные совещания по ночам; там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины; но все это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце концов могло самою медленностью процесса возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как Угрюм-Бурчеев.

И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда и как с рассветом дня те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм.

И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу...

Но здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденным ограничиться лишь передачею развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел.

«Через неделю (после чего?), – пишет летописец, – глумовцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто несло на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, *оно* несло, буровя землю, грохоча, гудя и стеля и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя *оно* было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. *Оно* близилось, и, по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло... глумовцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.

*Оно* пришло...

В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:

– Придет...

Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывший прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.

История прекратила течение свое».

## Оправдательные документы

### I. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем

*сочинил глуповский градоначальник Василиск Бородавкин<sup>[131]</sup>*

Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие. Чтобы они, так сказать, по всему лицу земли едиными устами. О вреде градоначальнического многомыслия распространюсь кратко. Какие суть градоначальнические права и обязанности? Права сии суть: чтобы злодеи трепетали, а прочие чтобы повиновались. Обязанности суть: чтобы употреблять меры кротости, но не упускать из вида и мер строгости. Сверх того, поощрять науки. В сих кратких чертах заключается недолгая, но и нелегкая градоначальническая наука. Размыслим кратко, что из сего произойти может?

«Чтобы злодеи трепетали» – прекрасно! Но кто же сии злодеи? Очевидно, что при многомыслии по сему предмету может произойти великая в действиях неурядица. Злодеем может быть вор, но это злодей, так сказать, третьестепенный; злодеем называется убийца, но и это злодей лишь второй степени; наконец, злодеем может быть вольнодумец – это уже злодей настоящий, и притом закоренелый и нераскаянный. Из сих трех сортов злодеев, конечно, каждый должен трепетать, но в равной ли мере? Нет, не в равной. Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце; убийце же менее, нежели безбожному вольнодумцу. Сей последний должен всегда видеть пред собой пронзительный градоначальнический взор и оттого трепетать беспрерывно. Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках многомыслие, то, очевидно, многое выйдет наоборот, а именно: безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы – всеминутно и прежде всего. И таким образом упразднится здравая административная экономия и нарушится величественная административная стройность!

Но последуем далее. Выше сказано: «прочие чтобы повиновались» – но кто же сии «прочие»? Очевидно, здесь

разумеются обыватели вообще; однако же и в сем общем наименовании необходимо различать: во-первых, благородное дворянство, во-вторых, почтенное купечество и, в-третьих, земледельцев и прочий подлый народ. Хотя бесспорно, что каждый из сих трех сортов обывателей обязан повиноваться, но нельзя отрицать и того, что каждый из них может употребить при этом свой особенный, ему свойственный манер. Например, дворянин повинуется благородно и вскользь предъявляет резоны; купец повинуется с готовностью и просит принять хлеб-соль; наконец, подлый народ повинуется просто и, чувствуя себя виноватым, раскаивается и просит прощения. Что будет, ежели градоначальник в сии оттенки не вникнет, а особливо ежели он подлому народу предоставит предъявлять резоны? Страшусь сказать, но опасуюсь, что в сем случае градоначальническое многомыслие может иметь последствия не только вредные, но и с трудом исправимые!

Рассказывают следующее. Один озабоченный градоначальник, вошед в кофейную, спросил себе рюмку водки и, получив желаемое вместе с медною монетою в сдачу, монету проплотил, а водку вылил себе в карман. Вполне сему верю, ибо при градоначальнической озабоченности подобные пагубные смешения весьма возможны. Но при этом не могу не сказать: вот как градоначальники должны быть осторожны в рассмотрении своих собственных действий!

Последуем еще далее. Выше я упомянул, что у градоначальников, кроме прав, имеются еще и обязанности. «Обязанности!» – о, сколь горькое это для многих градоначальников слово! Но не будем, однако ж, поспешны, господа мои любезные сотоварищи! размыслим зрело, и, может быть, мы увидим, что, при благоразумном употреблении, даже горькие вещества могут легко превращаться в сладкие! Обязанности градоначальнические, как уже сказано, заключаются в употреблении мер кротости, без пренебрежения, однако, мерами строгости. В чем выражаются меры кротости? Меры сии преимущественно выражаются в приветствиях и пожеланиях. Обыватели, а в особенности подлый народ, великие до сего охотники; но при этом необходимо, чтобы градоначальник был в мундире и имел открытую физиономию и благосклонный взгляд. Нелишнее также, чтобы на лице играла улыбка. Мне неоднократно случалось в сем триумфальном виде выходить к обывательским толпам, и когда я

звучным и приятным голосом восклицал: «Здорово, ребята!» – то, ручаюсь честью, не много нашлось бы таких, кои не согласились бы, по первому моему приветливому знаку, броситься в воду и утопиться, лишь бы снискать благосклонное мое одобрение. Конечно, я никогда сего не требовал, но, признаюсь, такая на всех лицах видная готовность всегда меня радовала. Таковы суть меры кротости. Что же касается до мер строгости, то они всякому, даже не бывшему в кадетских корпусах, довольно известны. Стало быть, распространяться об них не стану, а прямо приступлю к описанию способов применения тех и других мероприятий.

Прежде всего замечу, что градоначальник никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель *всегда* в чем-нибудь виноват, и потому *всегда же* надлежит на порочную его волю воздействовать. В сем-то смысле первую меру воздействия и должна быть мера кротости. Ибо, ежели градоначальник, выйдя из своей квартиры, прямо начнет палить, то он достигнет лишь того, что перепалит всех обывателей и, как древний Марий, останется на развалинах один с письмоводителем. Таким образом, употребив первоначально меру кротости, градоначальник должен прилежно смотреть, оказала ли она надлежащий плод, и когда убедится, что оказала, то может уйти домой; когда же увидит, что плода нет, то обязан, нимало не медля, приступить к мерам последующим. Первым действием в сем смысле должен быть суровый вид, от коего обыватели мгновенно пали бы на колени. При сем: речь должна быть отрывистая, взор обещающий дальнейшие распоряжения, походка неровная, как бы судорожная. Но если и затем толпа будет продолжать упорствовать, то надлежит: набежав с размаху, вырвать из оной одного или двух человек, под наименованием зачинщиков, и, отступя от бунтовщиков на некоторое расстояние, немедля распорядиться. Если же и сего недостаточно, то надлежит: отделив из толпы десятых и признав их состоящими на правах зачинщиков, распорядиться подобно как с первыми. По большей части сих мероприятий (особенно если они употреблены благовременно и быстро) бывает достаточно; однако может случиться



и так, что толпа, как бы окованная в своей грубости и закоренелости, коснеет в ожесточении. Тогда надлежит палить.

Итак, вот какое существует разнообразие в мероприятиях и какая потребна мудрость в уловлении всех оттенков их. Теперь представим себе, что может произойти, если относительно сей материи будет существовать пагубное градоначальническое многомыслие? А вот что: в одном городе градоначальник будет довольствоваться благоразумными распоряжениями, а в другом, соседнем, другой градоначальник, при тех же обстоятельствах, будет уже палить. А так как у нас все на слуху, то подобное отсутствие единомыслия может в самих обывателях поселить резонное недоумение и даже многомыслие. Конечно, обыватели должны быть всегда готовы к перенесению всякого рода мероприятий, но при сем они не лишены некоторого права на их постепенность. В крайнем случае они могут даже требовать, чтобы с ними первоначально распорядились и только потом уже палили. Ибо, как я однажды сказал, ежели градоначальник будет палить без расчета, то со временем ему даже не с кем будет распорядиться... И таким образом, вновь упразднится административная экономия, и вновь нарушится величественная административная стройность.

И еще я сказал: градоначальник обязан насаждать науки. Это так. Но и в сем разе необходимо дать себе отчет: какие науки? Науки бывают разные; одни трактуют об удобрении полей, о построении жилищ человеческих и скотских, о воинской доблести и непреоборимой твердости – сии суть полезные; другие, напротив, трактуют о вредном франмасонском и якобинском вольномыслии, о некоторых якобы природных человеку понятиях и правах, причем касаются даже строения мира – сии суть вредные. Что будет, ежели один градоначальник примется насаждать первые науки, а другой – вторые? Во-первых, последний будет за сие предан суду и чрез то лишится права на пенсию; во-вторых, и для самих обывателей будет от того не польза, а вред. Ибо, встретившись где-либо на границе, обыватель одного города будет вопрошать об удобрении полей, а обыватель другого города, не вняв вопрошающего, будет отвечать ему о естественном строении миров. И таким образом, поговорив между собой, разойдутся.

Следственно, необходимость и польза градоначальнического единомыслия очевидны. Развив сию материю в надлежащей полноте, приступим к рассуждению о средствах к ее осуществлению.

Для сего предлагаю кратко:

1) Учредить особый воспитательный градоначальнический институт. Градоначальники, как особливо обреченные, должны и воспитание получать особое. Следует градоначальников от сосцов материнских отлучать и воспитывать не обыкновенным материнским млеком, а млеком указов правительствующего сената и предписаний начальства. Сие есть истинное млеко градоначальниково, и напитавшийся им тверд будет в единомыслии и станет ревниво и строго содержать свое градоначальство. При сем: прочую пищу давать умеренную, от употребления вина воздерживать безусловно, в нравственном же отношении внушать ежечасно, что взыскание недоимок есть первейший градоначальника долг и обязанность. Для удовлетворения воображения допускать картинки. Из наук преподавать три: а) арифметику, как необходимое пособие при взыскании недоимок; б) науку о необходимости очищать улицы от навоза; и в) науку о постепенности мероприятий. В рекреационное<sup>[132]</sup> время занимать чтением начальственных предписаний и анекдотов из жизни доблестных администраторов. При такой системе можно сказать наперед: а) что градоначальники будут крепки и б) что они не дрогнут.

2) Издавать надлежащие руководства. Сие необходимо в видах устранения некоторых гнусных слабостей. Хотя и вскормленный суровым градоначальническим млеком, градоначальник устроен, однако же, яко и человеки, и, следовательно, имеет некоторые естественные надобности. Одна из сих надобностей – и преимущественнейшая – есть привлекательный женский пол. Нельзя довольно изъяснить, сколь она настоятельна и сколь много от нее ущерба для казны происходит. Есть градоначальники, кои вожделеют ежемгновенно и, находясь в сем достойном жалости виде, оставляют резолюции городнического правления по целым месяцам без утверждения. Надлежит, чтобы упомянутые выше руководства от сей пагубной надобности градоначальников предостерегали и сохраняли супружеское их ложе в надлежащей опрятности. Вторая весьма пагубная слабость есть приверженность градоначальников к

утонченному столу и изрядным винам. Есть градоначальники, кои до того объедаются присылаемыми от купцов стерлядями, что в скором времени тучнеют и делаются к предписаниям начальства весьма равнодушными. Надлежит и в сем случае освежать градоначальников руководительными статьями, а в крайности – даже пригрозить градоначальническим суровым млеком. Наконец, третья и самая гнусная слаб... (Здесь рукопись на несколько строк прерывается, ибо автор, желая засыпать написанное песком, залил, по ошибке, чернилами. Сбоку приписано: «Сие место залито чернилами по ошибке».)

3) Устраивать от времени до времени секретные в губернских городах градоначальнические съезды. На съездах сих занимать их чтением градоначальнических руководств и освежением в их памяти градоначальнических наук. Увещевать быть твердыми и не взирать.

и 4) Ввести систему градоначальнического единонаграждения. Но материя сия столь обширна, что об ней надеюсь говорить особо.

Утвердившись таким образом в самом центре, единомыслие градоначальническое неминуемо повлечет за собой и единомыслие всеобщее. Всякий обыватель, уразумеет, что градоначальники: а) распоряжаются единомысленно, б) палят также единомысленно, – будет единомысленно же и изготовляться к восприятию сих мероприятий. Ибо от такого единомыслия некуда будет им деваться. Не будет, следственно, ни свары, ни розни, а будут распоряжения и пальба повсеместная.

В заключение скажу несколько слов о градоначальническом единовластии и о прочем. Сие также необходимо, ибо без градоначальнического единовластия невозможно и градоначальническое единомыслие. Но на сей счет мнения существуют различные. Одни, например, говорят, что градоначальническое единовластие состоит в покорении стихий. Один градоначальник мне лично сказывал: «Какие, брат, мы с тобой градоначальники! У меня солнце каждый день на востоке встает, и я не могу распорядиться, чтобы оно вставало на западе!» Хотя слова сии принадлежат градоначальнику подлинно образцовому, но я все-таки похвалить их не могу. Ибо желать следует только того, что к достижению возможно; ежели же будешь желать недостижимого, как, например, укрощения стихий, прекращения течения времени и

подобного, то сим градоначальническую власть не токмо не возвысишь, а наипаче сконфузишь. Посему о градоначальническом единовластии следует трактовать совсем не с точки зрения солнечного восхода или иных враждебных стихий, а с точки зрения заседателей, советников и секретарей различных ведомств, правлений и судов. По моему мнению, все сии лица суть вредные, ибо они градоначальнику, в его, так сказать, непрерывном административном беге, лишь поставляют препоны...

Здесь прерывается это замечательное сочинение. Далее следуют лишь краткие заметки, вроде: «проба пера», «попка дурак», «рапорт», «рапорт», «рапорт» и т. п.

## **II. О благовидной всех градоначальников наружности**

*сочинил градоначальник, князь Ксаверий Георгиевич Микаладзе*<sup>[133]</sup>

Необходимо, дабы градоначальник имел наружность благовидную. Чтоб был не тучен и не скареден, рост имел не огромный, но и не слишком малый, сохранял пропорциональность во всех частях тела и лицом обладал чистым, не обезображенным ни бородавками, ни (от чего боже сохрани!) злокачественными сыпями. Глаза у него должны быть серые, способные по обстоятельствам выражать и милосердие и суровость. Нос надлежащий. Сверх того, он должен иметь мундир.

Излишняя тучность точно так же, как и излишняя скаредность, равно могут иметь неприятные последствия. Я знал одного градоначальника, который хотя и отлично знал законы, но успеха не имел, потому что от туков, во множестве скопленных в его внутренностях, задыхался. Другого градоначальника я знал весьма тощего, который тоже не имел успеха, потому что едва появился в своем городе, как сразу же был прозван от обывателей одною из тощих фараоновых коров, и затем уж ни одно из его распоряжений действительной силы иметь не могло. Напротив того, градоначальник не тучный, но и не тощий, хотя бы и не был сведущ в законах, всегда имеет успех. Ибо он бодр, свеж, быстр и всегда готов.

То, что сказано выше о тучности и скарденности, применяется и к градоначальническому росту. Истинный сей рост – между 6 и 8 вершками. Поразительны примеры, представляемые неисполнением сего на первый взгляд ничтожного правила. Мне лично известно таковых три. В одной из приволжских губерний градоначальник был роста трех аршин с вершком, и что же? – прибыл в тот город малого роста ревизор, вознегодовал, повел подкопы и достиг того, что сего, впрочем, достойного человека предали суду. В другой губернии столь же рослый градоначальник страдал необыкновенной величины солитером. Наконец, третий градоначальник имел столь малый рост, что не мог вмещать пространных законов, и от натуги умре. Таким образом, все трое пострадали по причине непоказанного роста.

Сохранение пропорциональностей частей тела также не маловажно, ибо гармония есть первейший закон природы. Многие градоначальники обладают длинными руками, и за это со временем отрешаются от должностей; многие отличаются особливим развитием иных оконечностей или же уродливою их малостью, и от того кажутся смешными или ззорными. Сего всемерно избегать надлежит, ибо ничто так не подрывает власть, как некоторая выдающаяся или заметная для всех гнусность.

Чистое лицо украшает не только градоначальника, но и всякого человека. Сверх того, оно оказывает многочисленные услуги, из коих первая – доверие начальства. Кожа гладкая без изнеженности, вид смелый без дерзости, физиономия открытая без наглости – все сие пленяет начальство, особливо если градоначальник стоит, подавшись корпусом вперед и как бы устремляясь. Малейшая бородавка может здесь нарушить гармонию и сообщить градоначальнику вид предерзостный. Вторая услуга, оказываемая чистым лицом, есть любовь подчиненных. Когда лицо чисто и притом освежается омовениями, то кожа становится столь блестящею, что делается способною отражать солнечные лучи. Сей вид для подчиненных бывает весьма приятен.

Голос обязан иметь градоначальник ясный и далеко слышный; он должен помнить, что градоначальнические легкие созданы для отдания приказаний. Я знал одного градоначальника, который, приготавливаясь к сей должности, нарочно поселился на берегу моря и там во всю мочь кричал. Впоследствии этот градоначальник усмирил

одиннадцать больших бунтов, двадцать девять средних возмущений и более полусотни малых недоразумений. И все сие с помощью одного своего далеко слышного голоса.

Теперь о мундире. Вольнодумцы, конечно, могут (под личную, впрочем, за сие ответственностью) полагать, что пред лицом законов естественных все равно, кованая ли кольчуга или кургузая кучерская поддевка облакают начальника, но в глазах людей опытных и серьезных материя сия всегда будет пользоваться особливим перед всеми другими предпочтением. Почему так? а потому, господа вольнодумцы, что при отправлении казенных должностей мундир, так сказать, предшествует человеку, а не наоборот. Я, конечно, не хочу этим выразить, что мундир может действовать и распоряжаться независимо от содержащегося в нем человека, но, кажется, смело можно утверждать, что при блестящем мундире даже худосочные градоначальники – и те могут быть на службе терпимы. Посему, находя, что все ныне существующие мундиры лишь в слабой степени удовлетворяют этой важной цели, я полагал бы необходимым составить специальную на сей предмет комиссию, которой и препоручить начертать план градоначальнического мундира. С своей стороны, я предвижу возможность подать следующую мысль: колет<sup>[134]</sup> из серебряного глазета, сзади страусовые перья, спереди панцирь из кованого золота, штаны глазетовые же и на голове литого золота шишак, увенчанный перьями. Кажется, что, находясь в сем виде, каждый градоначальник в самом скором времени все дела приведет в порядок.

Все сказанное выше о благовидности градоначальников получит еще большее значение, если мы припомним, сколь часто они обязываются иметь секретное обращение с женским полом. Все знают пользу, от сего проистекающую, но и за всем тем сюжет этот далеко не исчерпан. Ежели я скажу, что через женский пол опытный администратор может во всякое время знать все сокровенные движения управляемых, то этого одного уже достаточно, чтобы доказать, сколь важен этот административный метод. Не один дипломат открывал сим способом планы и замыслы неприятелей и через то делал их непригодными; не один военачальник с помощью этой же методы выигрывал сражения или своевременно обращался в бегство. Я же, с своей стороны, изведав это средство на практике,

могу засвидетельствовать, что не дальше, как на сих днях благодаря оному раскрыл слабые действия одного капитан-исправника, который и был вследствие того представлен мною к увольнению от должности.

Затем нелишнее, кажется, будет еще сказать, что, пленяя нетвердый женский пол, градоначальник должен искать уединения и отнюдь не отдавать сих действий своих в жертву гласности или устности. В сем приятном уединении он под видом ласки или шуточных манер может узнать много такого, что для самого расторопного сыщика не всегда бывает доступно. Так, например, если сказанная особа – жена ученого, можно узнать, какие понятия имеет ее муж о строении миров, о предрержащих властях и т. д. Вообще же необходимым последствием такой любознательности бывает то, что градоначальник в скором времени приобретает репутацию сердцеведца...

Изобразив изложенное выше, я чувствую, что исполнил свой долг добросовестно. Элементы градоначальнического естества столь многочисленны, что, конечно, одному человеку обнять их невозможно. Поэтому и я не хвалюсь, что все обнял и изъяснил. Но пускай одни трактуют о градоначальнической строгости, другие – о градоначальническом единомыслии, третьи – о градоначальническом везде-первоприсутствии; я же, рассказав, что знаю о градоначальнической благовидности, утешаю себя тем,

Что тут и моего хоть капля меду есть...

### **III. Устав о свойственном градоправителю добросердечии**

*сочинил градоначальник Беневоленский*

1. Всякий градоправитель да будет добросердечен.
2. Да помнит градоправитель, что одною строгостью, хотя бы она была стократ сугуба, ни голода людского утолить, ни наготы человеческой одеть не можно.
3. Всякий градоправитель приходящего к нему из обывателей да выслушает, который же, не выслушав, зачнет кричать, а тем паче бить – и тот будет кричать и бить втуне<sup>[135]</sup>.

4. Всякий градоправитель, видящий обывателя, занимающегося делом своим, да оставит его при сем занятии беспрепятственно.

5. Всякий да содержит в уме своем, что ежели обыватель временно прегрешает, то оный же еще того более полезных деяний соделывать может.

6. Посему: ежели кто из обывателей прегрешит, то не тотчас такого усекновению предавать, но прилежно рассматривать, не простирается ли и на него российских законов действие и покровительство.

7. Да памятует градоправитель, что не от кого иного слава Российской империи украшается, а прибыли казны умножаются, как от обывателя.

8. Посему: казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит с осмотрительностью, дабы не умалился от таковых расточений Российской империи авантаж<sup>[136]</sup> и не произошло для казны ущерба.

9. Бude который обыватель не приносит даров, то всемерно исследовать, какая тому непринесению причина, и если явится оскудение, то простить, а явится нерадение или упорство – напоминать и вразумлять, доколе не будет исправен.

10. Всякий обыватель да потрудится; потрудившись же, да вкусит отдохновение. Посему: человека гуляющего или мимо идущего за воротник не имать и в съезжий дом не сажать.

11. Законы издавать добрые, человеческому естеству приличные; противоестественных же законов, а тем паче невнятных и к исполнению неудобных – не публиковать.

12. На гуляньях и сборищах народных – людей не давить; напротив того, сохранять на лице благосклонную усмешку, дабы веселящиеся не пришли в испуг.

13. В пище и питии никому препятствия не полагать.

14. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

15. В остальном поступать по произволению.

(1869–1870)



## **Примечание**

# 1

«Лукаши» – мужички из Великолуцкого уезда Псковской губернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав.

2

Возможно ли не рассмеяться, друзья! (*лат.*)

3

Клин клином вышибают (*лат.*).

4

Позволять, не мешать! (*лат.*)

Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

**6**

Подумай о последствиях!

7

Сосуществования (*лат.*).



Пусть консулы будут бдительны! (*лат.*)

9

Нестомчивость – выносливость.

Архивариус – чиновник, ведающий архивом.

«Обращение» это помещается здесь дострочно словами самого «Летописца». Издатель позволил себе наблюсти только за тем, чтобы права буквы «ять» не были слишком бесцеремонно нарушены. – *Прим. издателя.*

Очевидно, что летописец, определяя качества этих исторических лиц, не имел понятия даже о руководствах, изданных для средних учебных заведений. Но страннее всего, что он был незнаком даже со стихами Державина:

Калигула! твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате:

Сияют добрые дела! – *Прим. издателя.*

Весь – селение, деревня.

Горé (цѣрковно-славянск.) – к небу.

До́лу (*церковно-славянск.*) – вниз, к земле.



Купно – вместе, совместно.

Неу́мы тный – неподкупный, честный (от старого русского слова «мыт» – пошлина).

Опять та же прискорбная ошибка. – *Прим. издателя.*

Скудельный сосуд – глиняный сосуд (от «скудель» – глина), в переносном значении – непрочный, слабый, бедный.

Очевидно, летописец подражает здесь «Слову о полку Игореве»: «Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мыслью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы». И далее: «О Бояне!! соловию старого времени! Абы ты сии пълки ущекотал» и т. д. – *Прим. издателя.*

Соложёное тесто – сладковатое тесто из солода (солод – слад), то есть из проросшей ржи (употребляется в пивоварении).

Алтын да деньга – старинные монеты: алтын в 6 денег, или в 3 копейки (ср. пятиалтынный – 15 коп.), деньга – полкопейки.

Грош – старинная монета в 2 копейки, позднее – полкопейки.



Хабарá – барыши, взятка.

Палтусина – мясо беломорской рыбы палтуса.

Сычúг – кушанье, приготовленное из коровьего желудка.

Горшая (*церковно-славянск.*) – более горькая, худшая.

Лейб-кампанцы – гвардейские офицеры или солдаты, участники дворцовых переворотов XVIII века.

Возлюбленных (*франц.* amantes).

Это очевидная ошибка. – *Прим. издателя.*

Игра ламуш – карточная игра.



Съезжий дом, или съезжая – помещение при полицейском участке, в котором наказывали розгами.

Речь идет о членах так называемого «негласного комитета», созданного в 1801 году Александром Первым для составления плана государственных преобразований. Деятельность комитета продолжалась до 1803 года и ограничилась рядом чисто внешних реформ, как, например, учреждением министерств вместо «коллегий» и т. п.

Искаженное наименование «профоса» – солдата в армии XVIII века, убиравшего нечистоты и приводившего в исполнение приговоры о телесном наказании.

По «Краткой описи» значится под № 8. Издатель нашел возможным не придерживаться строго хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием «Летописца». Сверх того, он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители, не столь замечательные, достаточно характеризуются предшествующею настоящему очерку «Краткою описью». – *Прим. издателя.*

Архистратіг (*греч.*) – верховный военачальник.

Скрижа́ли (*церковно-славянск.*) – каменные доски, на которых, по библейскому преданию, были написаны заповеди Моисея.

Очевидный анахронизм. В 1762 году недоимочных реестров не было, а просто взыскивались деньги, сколько с кого надлежит. Не было, следовательно, и критического анализа. Впрочем, это скорее не анахронизм, а прозорливость, которую летописец по местам обнаруживает в столь сильной степени, что читателю делается даже не совсем ловко. Так, например (мы увидим это далее), он провидел изобретение электрического телеграфа и даже учреждение губернских правлений. – *Прим. издателя.*

Новый пример прозорливости: Винтергальтера в 1762 году не было. – *Прим. издателя.*



Вертоград (*церковно-славянск.*) – сад.

Эскулап (*греч.*) – врач.

Ныне доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое другое человеческое тело, но не следует забывать, что в 1762 году наука была в младенчестве. – *Прим. издателя.*

Камилавка (*греч.*) – особой формы головной убор, который носят старшие по чину священники.

Даже и это предвидел «Летописец»! – *Прим. издателя.*

Силлогизм (*греч.*) – вывод из двух или нескольких суждений.

Лжеиерѣй (*церковно-славянск.*) – самозванный, ненастоящий священник.

Помава́ть – покачивать, махать.



Рачéние – старание, усердие.

Изумительно!! – *Прим. издателя.*

Этот достойный чиновник оправдался и, как увидим ниже, принимал деятельнейшее участие в последующих глуповских событиях. – *Прим. издателя.*

Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя «Летописец» и дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит, что на первом градоначальнике была надета та самая голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейб-кампанца; на втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков, по приказанию помощника городничего, набивши ее, по ошибке, вместо музыки вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и несомненным остается только то, что оба градоначальника были самозванцы. – *Прим. издателя.*

Раска́т – крепостной вал или высокая насыпь с помостом.

Марат в то время не был известен; ошибку эту, впрочем, можно объяснить тем, что события описывались «Летописцем», по-видимому, не по горячим следам, а несколько лет спустя. – *Прим. издателя.*

Бостон – карточная игра.

«Недреманное око», или «недремлющее око» – в данном случае подразумевается жандармское отделение.



Крамóла – заговор, мятеж.

Она печатается дословно в конце настоящей книги, в числе оправдательных документов. – *Прим. издателя.*

По́ярковый грешневи́к – шляпа из овечьей шерсти (ярка – овца) в форме блина (гречневый блин).

Гуня́вый – гнусавый, в другом значении – плешивый, неуклюжий.

Шелеп – плеть, палка.

Казус – случай.

По библейскому преданию, Иезавель, жена царя Израиля Ахава, навлекла своим греховным поведением гнев бога на израильский народ.

Животы – здесь: домашний скот.



Драдедамовый – сделанный из особого тонкого шерстяного драпа (от франц. «drap des dames»).

**65**

Венец принять – умереть мученической смертью.

«И се не бе» (*церковно-славянск.*) – «и этого не стало», «и этого не было».

Взбондіровать – высечь.

«На реках вавилонских» – по библейскому преданию, песнь древних евреев.

«Аспид» (*греч.*) – легендарный змей; «аспидово покаяние» – ложное, коварное покаяние.

Амфитри́он – гостеприимный хозяин, распорядитель пира.

Вящій (*церковно-славянск.*) – большой, высший.



Сепара́тный – отдельный, обособленный.

Крин сѣльный (*церковно-славянск.*) – полевой цветок.

Коллізія – столкновение противоположных сил.

Промена́д (*франц.*) – прогулка.

**76**

Стегно́ – бедро.

Концессия (*лат.*) – договор на сдачу в эксплуатацию.

Аманаты (*арабск.*) – заложники.

Абрис (*нем.*) – контур, очертание.



Деморализация – упадок дисциплины, упадок нравов.

Фаланстер (*франц.*) – дом-дворец, в котором, по идее французского социалиста-утописта Фурье (1772–1837), живет «фаланга», то есть ячейка коммунистического общества будущего.

Атуры (*франц.*) – всевозможные украшения женского наряда.

Наи́паче (*церковно-славянск.*) – наиболее.

Помни о смерти! (*лат.*)

Апока́липисис (*греч.* – откровение) – книга туманных пророчеств, написанная, по древнему преданию, одним из учеников Христа.

Доктринер – начетчик, человек, придерживающийся заученных, оторванных от жизни истин, принятых правил.

Презорный – презирающий правила или законы.



Дестъ – мера счета бумаги, равнялась 24 листам.

Интимных утренних приемов (*франц.*).

Заполева́ть – добыть на охоте.

О железных дорогах тогда и помину не было; но это один из тех безвредных анахронизмов, каких очень много встречается в «Летописи». – *Прим. издателя.*

Мамона – бог богатства (у древних сирийцев); в переносном значении: алчность, корыстолюбие.

Спиритуализм – реакционное идеалистическое учение, признающее истинной реальностью дух, а не материю.

Эманация (*лат.*) – истечение, излучение.

Тавтологія – повторение того же самого другими словами, ничего по смыслу не прибавляющее, а потому лишнее.



Виконт (*франц.*) – дворянский титул.

Весело проводить время (*франц.*).

Разговоры *(франц.)*.

Грузчиком (*франц.* débardeur).

В этом ничего нет удивительного, ибо летописец свидетельствует, что этот самый Дю-Шарио был впоследствии подвергнут исследованию и оказался женщиной. – *Прим. издателя.*

Причѣтник – дьячок, младший по чину церковнослужитель.

Какие дураки! клянусь богом! какие дураки эти плуповские мужики! (*франц.*)

Названия французских песенок легкомысленного содержания, которые распевали в Петербурге в увеселительных заведениях приезжие французские певицы.



Мизантро́п – человек, избегающий общества, нелюдим.

Политеи́зм (*греч.*) – многобожие.

Монотеїзм (*греч.*) – однобожие.

Кипрiда – богиня любви.

Меценат – покровитель искусств.

Демаркаци́онная черта – пограничная черта.

Пармские фиалки (*франц.*).

Фаво́р – по евангельскому преданию, священная гора.



Пиетист (лат.) – ревностный исполнитель показного благочестия, ханжа; Щедрин имеет в виду представителей религиозно-мистического движения в протестантизме.

Пѣрси (*церковно-славянск.*) – грудь.

Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок. – *Прим. издателя.*

Палтус (*франц.* turbot).

Агаряне – по библейскому преданию, потомки Агари; в старой русской литературе так называли всех магометан.

Смирна и ливан – здесь: восточные благовонные смолы, ладан.

Пе́щисъ – заботиться, опекать.

Высший свет (*франц.* beau monde).



Теоло́гия (*греч.*) – богословие.

Сектатор (*лат.*) – последователь, член секты.

Шпицрутены (*нем.*) – длинные гибкие прутья, которыми секли осужденных солдат, прогоняемых сквозь строй.

Нивеляторы – уравниатели.

То есть апробированным, проверенным.

Кантонисты – сыновья солдат, с детства зачисляемые на военную службу.

Васи́лиск (*греч.*) – легендарный дракон или змей, взгляд которого убивал человека.

Демаго́г – человек, добивающийся популярности в народе лестью, лживыми обещаниями, потворствующий инстинктам толпы.



Прозелит (*греч.*) – заново уверовавший, новый последователь.

Татъ – вор.

Мартиролог (*греч.*) – перечень мучений, пережитых страданий, несчастий.

Сочинение это составляет детскую тетрадку в четвертую долю листа; читать рукопись очень трудно, потому что правописание ее чисто варварское. Например, слово «чтоб» везде пишется «штоб» и даже «штоп»; слово «когда» пишется «кахда» и проч. Но это-то и делает рукопись драгоценною, ибо доказывает, что она вышла несомненно и непосредственно из-под пера глубокомысленного администратора и даже не была на просмотре у его секретаря. Это доказывает также, что в прежние времена от градоначальников требовали не столько блестящего правописания, сколько глубокомыслия и природной склонности к философическим упражнениям. – *Прим. издателя.*

Рекреация – перемена между уроками.

Рукопись эта занимает несколько страничек в четвертую долю листа; хотя правописание ее довольно правильное, но справедливость требует сказать, что автор писал по линейкам. – *Прим. издателя.*

Колет (*франц.*) – короткий мундир из белого сукна (в кирасирских полках).

Вту́не (*церковно-славянск.*) – напрасно.



Авантаж (*франц.*) – выгода, польза, благоприятное положение.